

УЛЬЯ НОВА

АККОРДЕОНОВЫЕ КРЫЛЬЯ



Улья Нова: городская проза

Улья Нова

**Аккордеоновые
крылья (сборник)**

«ЭКСМО»

2017

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Нова У.

Аккордеоновые крылья (сборник) / У. Нова — «Эксмо»,
2017 — (Улья Нова: городская проза)

ISBN 978-5-699-95020-1

Работала Антонина на кондитерской фабрике. Носила юбки и платья необъятных размеров. И не догадывалась, что скоро случится у нее великая любовь с седеющим аккордеонистом, который наигрывает вальсы возле метро. Любовь случилась, но счастливая жизнь не обещала быть долгой... Антонина с легким сердцем отпустила его – когда аккордеонист, прощаясь, разбежался на пустынном перроне и улетел на крыльях своей музыки, навсегда оставляя в сердце возлюбленной нежность и боль... Перед вами сборник новелл, которые объединяет не только стиль повествования – в них переплетаются «цветочная» нить любви и «черная» ниточка боли. И «цветочного» в них, как и в нашей жизни, все-таки больше!

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-95020-1

© Нова У., 2017
© Эксмо, 2017

Содержание

Кто твой ангел?	6
Трубки Сталина	9
Темнота	18
Аккордеоновые крылья	23
Тихая Сапа	33
Сказка о слабости	38
1	38
2	40
3	43
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Улья Нова

Аккордеоновые крылья (сборник)

© Улья Нова, 2017

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

Кто твой ангел?

Маленькая часовенка была закрыта. Анечка несколько раз подергала железную ручку черной двери: «Заперли, опоздала». Ни тебе Рождества, ни свечи, ни шоколадных с позолотой икон, ни баса батюшки. Черная запертая дверь, снежок, темные окошки. Рождество случилось.

Анечка заспешила домой. Но метро тоже уже закрылось, пришлось ловить попутку. Она долго стояла на обочине, старательно тянула руку, будто выучила все наизусть и теперь нетерпеливо вызывалась ответить урок. Мимо проносились машины. После каждой проехавшей становилось холоднее. И город укутывала ночная зимняя грусть. Наконец притормозила «копейка», а подробнее их Анечка не различала. В салоне было темно и накурено. Водитель в мятой кожаной кепке, похожей на чайный гриб, прохрипел, что в честь Рождества денег не возьмет. Так уж и быть, довезет, не обидит. Так он сегодня решил, в честь праздника. Машина, а в ней Анечка, полетели по заснеженным пустынным улицам. Было странно, но Анечка не возражала.

Усталая от того, что в последнее время постоянно приходилось куда-то спешить и все равно не успевать вовремя, что люди вокруг требовали внимания и жалости, что жить почему-то становилось все тяжелее, Анечка нахохлилась в гнездышке меховой шубки и совсем скоро заснула. Машина продолжала скользить по темному городу. Повсюду мерцали гирлянды, звездочки, разноцветные новогодние лампочки и неоновые снежинки.

Когда-то Анечке хотелось верить в ангела. В те времена ангелов в ее жизни совсем не было, а намеренный поиск приводил к неприятностям. Поэтому Анечка пыталась выяснить у самых разных знакомых, какое должно возникнуть чувство, когда ты впервые встречаешь своего ангела на улице или если ангел укрывает тебя крыльями от беды. Ей очень хотелось знать, на что это похоже, когда ангел неслышно пролетает под потолком комнаты, освещая своим теплым сиянием темные уголки и, вдохнув сон, ускользает в форточку.

Одна женщина в очереди сказала, что все свыше должно внушать страх. Это разочаровало Анечку, потому что она не любила бояться. Старушка-вахтерша призналась, что лишь однажды за всю свою жизнь видела ангела. Это случилось на Черном море, вечером. Ангел тихо прошел по маленькой комнатке пансионата. Старушка-рассказчица в то время была еще молодой незамужней девушкой, она спросонья вся затрепетала от счастья. Но настоящего счастья в ее жизни никогда не было, только отдельные проблески, блески. Бывший Анечкин парень утверждал, что видит ангелов довольно часто и как-то раз даже сумел дотронуться до мягких, прозрачных крыльев одного из них. Но они все равно расстались прошлой весной – просто так, потому что любовь закончилась.

Однажды Анечку попросили присмотреть за трехлетней племянницей. Анечка читала книжку, а маленькая девочка ползала по полу, разбрасывала кубики и заводила свои квакающие и булькающие музыкальные игрушки. Потом вдруг маленькая девочка затихла и уставилась в черное незанавешенное окно, долго смотрела туда и сияла теплой, счастливой улыбкой. Анечка отложила книжку, подошла к окну, осмотрела улицу и спящее под черным пододеяльником небо. Но ничего и никого там не нашла. Видимо, ангел уже улетел. Или он был предназначен только для маленьких девочек и не хотел показываться на глаза недоверчивым и подозрительным взрослым.

Сейчас Анечка дремала в машине, покачиваясь из стороны в сторону. Свет фонарей и фар освещал ее редкие реснички, пухлую щечку и уголок рта, утопающий в сером мехе шубки.

Анечке снилось, что она – тоже маленькая часовенка, отстроенная добрыми людьми у дороги, в глухой тайге. Только одна бумажная иконка и еще треножник на три свечи, больше там внутри ничего не было. Иногда редкие снежинки прорывались внутрь через трещины купола и медленно опускались к полу, мерцая в сумраке. Так было долго – шли годы, десятилетия и ничего не менялось. Потом однажды в темноте послышался настоятельный стук. Кто-то отворил тяжелую железную дверь часовенки, вошел в темноту, принес с собой из тайги вьюгу и завывающий ветер, пахнувший заиндевелою хвоей. В темноте ничего не было видно. Ни лица, ни одежды. Только черная глыба человека и его порывистое дыхание, клубящееся на выдохах паром. Он достал из кармана коробок спичек, неуклюже уронил, ругнулся, тут же поспешно перекрестился. Взял с полки у стены свечку, зажег, поставил. Долго рылся в карманах, не нашел монетки. Постоял, поклонился, вышел. У него за спиной были крылья.

Во сне Анечка улыбнулась. Было радостно. Где-то на задворках сна хор тихонько пел рождественские гимны. Они ведь знакомы, просто Анечка не догадывалась, что он – ее ангел. Ей сразу стало трудно жить, узнав того, кто зажег эту свечку в маленькой таежной часовенке, в ее темной душе. Зато ей теперь было светло от простоты решения, чудно вспоминать всю свою прошлую жизнь и то, сколько раз она проходила мимо него, не замечая.

Теперь, во сне, Анечка испытала страх того, что свыше, о котором когда-то говорила ей женщина в очереди. Теперь, во сне, Анечка боялась нарушить расстояние, разделявшее их. Она удивилась – оказывается, это так ответственно, знать своего ангела, быть рядом и никогда не коснуться его крыльев, его ладони.

Теперь она знала, что у ее ангела совсем не такие тонкие пальцы, как рисуют на иконах. У него обыкновенные, даже чуть грубоватые руки. Анечка была уверена, что пока он присутствует где-то рядом, она не сможет быть злой и только его никогда не сможет околдовать. Во сне она размышляла о девушке, которая была так прекрасна и чиста, что ангел не сумел удержаться и на земле родился их сын, от которого ведет начало весь ангельский род, огромное белокрылое воинство. Теперь Анечке было тепло, ведь она знала: где-то в закоулках города, в подвале, на узенькой кушетке охранника, прикрытый драповой курткой, спит ее ангел.

Анечка не могла знать только одного: часовенке в глубине тайги было триста с лишним лет. Стены часовенки – древние, изъеденные жуками-короедами сосновые бревна. Свечка горела медленно, нагреваясь от пламени. Свечка постепенно размягчилась, накренилась, изогнулась, а потом и вовсе упала с треножника на деревянный пол. Пожар занялся мгновенно. Сгорела бумажная иконка. Занялась стена. Вскоре таежная дорога озарилась неугомонным пламенем. Языки огня плясали на фоне черных стволов, снега и ночи.

– Приехали, красавица, – прохрипел водитель, – твоя остановка.

Ответа не последовало. Ни звука, ни шороха. Водитель оглянулся. На заднем сиденье никого не было. Пассажирка в шубке исчезла. От неожиданности водитель замер. И даже немного испугался. На всякий случай он еще раз старательно оглядел заднее сиденье от правой до левой двери. Потом пожал плечами и почему-то подумал, как же легко ошибиться, как же легко все на свете перепутать. Он-то намеревался сегодня, в Рождество, довезти кого-нибудь до дома и не взять ни копейки. Это был такой особый Рождественский дар. Водитель был уверен, что разговор со всеми, кто свыше, – это добрые дела и щедрые поступки. В глубине души ему было очень страшно забирать свой повторный анализ из больницы. Теперь водитель сокрушался: наверное, надо быть смелее, как-нибудь обходиться без всяких этих суеверий и дурацких сказок. В ту ночь он больше никого не подвозил ни за деньги, ни за надежду. Расстроенный и притихший, он неторопливо рулил домой, от Профсоюзной – в Орехово. На всякий случай по дороге он решил ничего не рассказывать жене и сыну. Просто

умолчать об этом странном случае, как будто ничего особенного не произошло. Он ехал по пустому шоссе, почти один. А над городом кружили сиреневые ангелы снегопада и черные крылатые лошадки рождественской ночи.

После праздников водитель все же набрался смелости, доехал до больницы, забрал свой повторный анализ. Поначалу ничего не понял в закорючках и росчерках. И полупрозрачный листочек с закорючками дрожал в его руке, прямо как сочинение на выпускном экзамене в школе. Внимательно выслушал врача, изредка на всякий случай кивая на бесцветные медицинские термины. Впервые с осени выдохнул с облегчением: «Спасибо, доктор! Ну и хорошо – еще проживем». Все случившееся было обычным, будничным, как будто иначе и быть не могло. Правда, чуть позже, уже в машине, выезжая из больничного двора на шоссе, водитель все же улыбнулся своему доброму рождественскому ангелу в серой шубке. Никогда ведь не знаешь, кем эти ангелы прикинутся в следующий раз, кем они покажутся со стороны. И на всякий случай водитель прошептал Анечке: «Спасибо, красавица, еще проживем!»

Трубки Сталина

Так долго ехала на маршрутке мимо бесконечных пятиэтажек, что почти задремала. Растолкали: «Девушка, вам выходить». Заблудилась во дворах, силясь расшифровать наспех зарисованный адрес на листке ежедневника. Бежала по витой лестнице на третий этаж. В глазах потемнело. Все поплыло. Пару минут стояла, уперев руки в колени, силясь отдышаться. Была облаяна пекинесом из соседней квартиры. Долго звонила в дверь, жала звонок настойчиво и бестактно, начав сомневаться, не перепутала ли подъезд. Наконец открыл. В прихожей полумрак, а он невысокий. Широкоплечий. Бородатый. Бурят. Седой, с затянутыми в хвост волосами.

– Ты опоздала на десять минут, – как отрезал. Его голос – тихий басистый колокол. С лету перешел на «ты», чтобы сразу сблизиться и сбить все препятствия.

– Снимай пальто. Проходи в комнату. И там – раздевайся, – командует повелительно, но мягко. Умеет.

Ариша снимает пальто. Медленно снимает ботинки, умышленно замешкавшись в прихожей, заваленной ботинками, босоножками, всякими мятыми сапогами, что разбросаны без разбору на тусклом паркете.

– Дальняя дверь! – кричит он откуда-то из глубины просторной квартиры.

Ариша проходит по коридору. Просторная квадратная комната. Новенькие обои в стиле турецких гостиниц три звезды. Посредине раскинулась во всю ширь необъятная супружеская кровать. Двухспальная, дубовая, основательная. «Умеют, уважают и спят на широкую ногу в этом доме», – с ухмылкой проносится у нее в голове. От волнения в виске начинает пульсировать крошечная жилка, которая всегда шалит в подобных случаях. Тем не менее любопытство сильнее. Ариша придирчиво осматривается. На кровати нет покрывала, трогательные семейные одеялки аккуратно сложены. Пододеяльники старые, в размытый какой-то цветочек, зато мягкие на ощупь.

Она садится на краешек, начинает медленно раздеваться.

– Белье можешь оставить на себе, – кричит он издали, возможно, с кухни. Оттуда же доносятся приглушенные смешки двух мужчин и женский приторный говорок. Рабочие? Гости?

– Хорошо, – зачарованно шепчет Ариша в ответ, – как скажете. Она снимает джинсы, скидывает кофточку. Бережно скатывает черные нейлоновые колготы. Белесой длинноногой птицей в синем кружевном лифчике замирает на краешке кровати, нерешительно раздумывая, прислушиваясь и ожидая.

– Приляг, – кричит он, – отдохни.

Тогда она послушно и медленно ложится на широченную кровать. Утопает головой в чужой прохладной подушке. Чтобы отвлечься, рассматривает в шкафу вдоль стены почти картинные ряды книг в суконных переплетах, некоторые нетронутые, нечитанные, присутствующие на полках для красоты, а некоторые, наоборот, растрепанные, разломанные, затертые, напоминающие Арише ее собственную жизнь к этому часу. Чтобы отвлечься от сравнений, она всматривается в сервант, до отказа набитый курительными трубками. Сейчас больше всего на свете ей хотелось бы подкрасться, отворить стеклянную дверцу и хорошенько рассмотреть эти трубки, одну за другой, сколько успеет. Их там штук двести, а то и больше. Они разного цвета, из разной древесины, по-разному изогнуты. Но Ариша сдерживается. Гадает, на какой стороне кровати он спит. Тем временем он целеустремленно объявляется в комнате. Приободренный, пропахший кофе и табаком. В руке у него какая-то погрешка, он легонько постукивает ею: стук-стук. Так и есть, на безымянном пальце правой руки у него обручальное кольцо. Тонкое, из желтого золота, без затей – как у всех раньше.

– А ты ничего, – между делом сообщает он сквозь зубы.

– Спасибо, – шепчет Ариша, чуть выпячивая губы, по опыту зная, что это всегда срабатывает.

– Только слишком белокожая, северная красавица, прямо альбинос, – назидательно рычит он, – тебе бы не помешало иногда в солерии объявляться.

– Хорошо, – шепчет она еще тише, приглаживая волосы, скручивая их жгутом на затылке, чтобы они тут же рассыпались по плечам, – зайду в солерий, раз вы советуете.

– И немедленно наплюй на все, – безразлично и размеренно басит он, – расслабься. А я тебе за это о коллекции трубок расскажу. Она у меня редчайшая в Москве и, наверное, во всем мире. Тут и трубки Сталина есть. – Уперев руки в бока, чуть выпятив живот, он с самодовольной гордостью оглядывает содержимое серванта. – Сталину в свое время присылали трубки отовсюду, со всех концов нашей необъятной, как говорится. Иногда дарили новые трубки. Иногда присылали трубки, украшенные слоновой костью, в форме кулака или головы Наполеона. А иной раз отец народов получал в подарок обкуренные трубки. Такие ценятся выше. Они уже продымлены каким-то человеком, знакомы с табаком, понимаешь. Поговаривают, что иногда трубки для Сталина обкуривали эки. А еще моряки балтийского флота. Две обкуренные трубки Сталина лежат у меня здесь, спрятаны среди остальных. Только я их смогу найти при необходимости. А любой другой – не найдет и не отличит. Ну, трубка. Ну, не из лучшего вереска. Я их купил в середине 90-х. Сейчас каждая из них раз в двадцать подорожала, если не в пятьдесят, – хвастается он.

– А дадите покурить трубку Сталина? – стараясь выпрямить спину и казаться насмешливо-бойкой, спрашивает Ариша.

– А это мы посмотрим на твоё поведение, – бормочет он без улыбки. Насупленно оглядывает ее с ног до головы. Ариша старается казаться спокойной. Тогда он подходит.

Вообще, он медлительный. Как будто все время исполняет плавные упражнения из ушу. И невозмутимый, словно Будда. Садится на краешек кровати. Долго и пристально смотрит Арише в глаза. Что при этом думает, что пытается уловить в ее взгляде, непонятно. Ариша тоже смотрит ему в глаза и ждет, что будет дальше. От напряжения мышца между плечом и шеей начинает щемить, словно там протяжно скулит туго натянутая струна. Такое с ней теперь происходит постоянно – при резком окрике, при неожиданном телефонном звонке. Она вся будто издергана за сотни шелковых ниточек, которые собрали ее нутро в складку, не давая свободно вдохнуть, отнимая легкость. Между тем два пальца его правой руки внезапно касаются ее кожи. Большой и указательный пальцы его правой руки прикасаются к ее коже посреди предплечья. И прижимаются крепко-накрепко, навечно.

– Не бойся, – командует он, – смотри в сервант, на трубки. А еще лучше – смотри мне в глаза. Я сероглазый, между прочим. Сейчас седой, а раньше был жгучий брюнет. Раньше бы ты на меня совсем по-другому смотрела, девочка.

– Слушаюсь и повинуюсь, – шепчет она, стараясь улыбнуться.

– Вот, это дело! Такой я тебя люблю – подмигивает он в ответ, – скорее наплюй на все, тогда станет хорошо.

Но Ариша не плюет, она даже забывает выпячивать губы, напрягается всем телом, чувствуядребезжание настороженных мышц-струн в ногах, руках, спине. Она ждет. Волнуется. И злится, потому что очень не любит ожидание, повиновение и неизвестность.

Его левая рука. В ней зажата погремушка. Как она выглядит, из чего сделана, Арише не видно. Если показать это в замедленной киносъемке, то получится приблизительно следующее. Ловкость рук фокусника. Крышка погремушки резко скручивается. Погремушка стремительно движется вниз-вверх. Из нее в толстоватых коротких пальцах возникает серебристая тоненькая игла. Через секунду эта гибкая игла впивается Арише в кожу посреди

предплечья. И продвигается глубже: в сведенную мышцу, в самый нерв, в самую точку напряжения и боли. Одним словом, прямехонько ей в душу. И Ариша кричит: на всю квартиру, на всю Москву, на весь мир.

– Плюй, – ворчливо приговаривает он, – а то будет в тысячу раз больше. Плюй, милая девочка, и отдыхай.

Его левая рука с ловкостью фокусника вытряхивает из жестяной погремушки новые и новые иглы, одну за другой. И втыкает ей в душу. В самую ее мякоть. Через минуту во всех болевых точках ее судьбы, во всех спорных моментах Аришиного прошлого, во всех сведенных нервах тела торчат длинные тонкие иглы. И легонько покачиваются, стоит только чуть-чуть пошевелиться. А когда они покачиваются, становится в сто раз больше. Ариша рыдает. А он улыбается. Посмеивается. Поглаживает ее по ноге: очень медленно и нежно – от колена до лодыжки. Так, что тело Ариши электризуется и все ее пушинки встают дыбом. И он бормочет: «А ты ничего». Командует: «Плюй на все». И обещает в конце курса дать покурить трубку Сталина, при условии, что они будут затягиваться по очереди, наедине, у него в машине.

Ариша злится. Шепотом, как уж умеет, втыкает в него свои иглы:

– С вами я ни за что и никогда не стану курить по очереди трубку Сталина. Вы – старый садист. А садисты – не в моем вкусе. Я люблю тонких, нежных и гибких мужчин. Я люблю иногда сама делать им больно. А вы – изверг и живодер. Я вас уже терпеть не могу из всех сил. Все, устала, больше не хочу! Немедленно снимите иглы! А иначе жена вас бросит. Потому что вы – самодовольный эгоист, а таких никто не любит!

Он хихикает до слез. Втыкает в нее еще несколько игл. И дерзит:

– Не бросит меня моя старуха никогда в жизни. Я делаю хорошие деньги, милая девочка. Я покупаю жене шубы, машины, снегоходы. Вожу ее на Средиземное море дважды в год. Даю ей на косметолога, на всякую вашу шанель-шпанель. Она не сможет жить без этого. Не сумеет экономить, одеваться в синтетическое барахло из дешевых отделов. На деньги ведь подсаживаешься сильнее, чем на всякие там табаки, виски, гашиши. И на мои иглы, кстати говоря, подсаживаются еще как. Имей в виду: через пару недель тебя будет тянуть под мою иглу со страшной силой. Ты пропала, милая девочка.

Тогда от его спокойствия, от его усмешек Ариша в ярости сжимает кулаки. Боль тут же усиливается в сотни раз. А он с ехидной улыбочкой бормочет:

– Это все пойдет тебе на пользу. Тебе полегчает. Ты восстановишься. А розы вырастут сами. И твои гибкие легковесные мальчишки, и твои тонкие бессмысленные мужчинки это оценят. Ох, как же они это оценят. Скоро убедишься.

А потом он встает и ускользает из комнаты, оставив Аришу в слезах и в иглах еще минут на десять.

– Трубки, – повелительно кричит она вдогонку, преодолевая нестерпимую, пронзающую боль, – расскажите про трубки, вы обещали!

– Ты плохо вела себя, – басисто доносится откуда-то издалека, – будь нежнее, радуй меня и уважай, а я уж в долгу не останусь, расскажу про трубки.

Ариша не может утереть слезы, ее руки должны неподвижно лежать вдоль тела. Она чувствует себя бабочкой, распластанной на кровати, заживо приколотой к мягкой ткани пододеяльника. Она наблюдает потолок сквозь слезы, как расплывчатый экран маленького южного кинотеатра, по которому сейчас начнется развлекательный и добрый фильм для отдыхающих. Как давно это было: подлинные и уютные дни без изъянов, окутанные розоватым сиянием. Даже не верится, что они когда-нибудь еще возможны в ее жизни. Боль усиливается с каждой секундой, становится совершенно невыносимо. Вообще-то Арише не привыкать плакать. От этой мысли, от жалости к себе слезы льются сильнее, настоящей горной

рекой. А ведь за последние три года она научилась виртуозно управлять ими, стала выдающимся мастером плача. Она постигала эту науку шаг за шагом, сначала заливая подушки и всхлипывая спонтанно, со временем научившись рыдать намеренно, а то и вовсе хищно, с тайным умыслом умело воздействовала на своих жертв поддельными и показными слезами. Однажды она сидела на полу, подпирая спиной ящички кухонного шкафа для специй и полотенец, уронив руки, позволяя слезам беспрепятственно катиться по опухающим щекам, чтобы в момент, когда муж заглянет на кухню, повернуть к нему расплывшееся лицо с изъеденными в кровь губами, молча и жалобно заглянуть в глаза.

А сколько раз она лежала, отвернувшись к стене, изо всей силы зажимая рот ладонью, сдерживая любые звуки, захлебываясь, утаивая назойливую стаю обид. Потом много было еще всякого: шаг за шагом, ступень за ступенью Ариша становилась укротительницей своих печалей. В последнее время она превратилась в могущественного магистра плача, обрела навык утаивать слезы, направлять их вовнутрь, чтобы они катились как огромные сверкающие бусины по изнанке души, не отражаясь на лице ни бледностью, ни судорогой, ни отчаянием взгляда. Просто катились в выгоревшую бездну, пока она жарит курицу в красном вине, переворачивает деревянной лопаточкой треугольные куски птицы и что-то беспечное щебечет про письмо Люси из Будапешта, вслушиваясь в блеклые и односложные реплики из ванной.

И вот теперь иглы победили Аришу. Они проткнули тщательно укрываемое от посторонних глаз бездонное хранилище ее слез. Неодолимый, нескончаемый водопад хлынул, затопив собой окружающее. Будто бы изливая изнутри то, что так тщательно утаивалось незамысловатыми отвлекающими маневрами, маленькими и суетливыми повседневными делами. «Надо тебе срочно расслабиться, девочка», – шепчет она словами сегодняшнего своего истязателя, уже переняв его смешливую и спокойную манеру проникновенно, ласково, почти гипнотически произносить команды. Но это не помогает, надо что-то срочно предпринять, чтобы не потерять сознание, чтобы не начать яростно вырывать из себя эти иглы, как уж придется, рискуя что-нибудь повредить. Она изо всех сил сдерживается, чтобы не начать вырывать иглы из своего прошлого, из уязвимых и саднящих болевых точек своей жизни. И неожиданно вспоминает. Отчетливо улавливает мгновение, откуда началась череда событий, приведших ее в эту квадратную комнату, на чужую, незаправленную супружескую кровать, под полсотни серебряных игл. К невысокому бородатому мужчине с седыми волосами, стянутыми в хвост на затылке.

Неделю спустя Ариша снова лежит, как капустная белянка, пришпиленная безжалостным иглами к гобеленовому покрывалу в мутно-бордовый рисунок ромбов. Слезы уже не хлещут, она немного привыкла и начала управлять собой под тремя десятками игл – лишь пара самопроизвольных физиологических ручейков медленно стекают по ее щеке, по шее, по отчетливо выступающей ключице, к груди, заключенной в черный атласный лифчик с чашечкой «анжелика». Надетый вполне умышленно, для истязателя. С тайным умыслом подразнить его. В отместку за бесцеремонное спокойствие и отечески-смешливый тон.

Он замер на фоне книжного шкафа. Как укротитель и хищник одновременно. В тертых замызганных джинсах, в синей рубашке. Эту рубашку, к слову сказать, он надевает по особым своим, избранным случаям. Рукава аккуратно закатаны до локтей, чтобы продемонстрировать тайное сокрушительное оружие: мускулистые, немного смуглые предплечья. Щедро волосистые, крепкие мужские предплечья, сводящие с ума всех без исключения женщин, встречавшихся ему в жизни. Изредка Ариша робко и ласково оглядывает их, почти лижет глазами. Ее ненасытный взгляд, несмотря на иглы, становится сияющим и ждущим. И он отлично это чувствует, он бегло читает все ее тайные и явные знаки. Он стоит на фоне книжного шкафа, в его руке – одна из тех самых трубок Сталина. Обычная на вид, темно-коричне-

вая, с черным мундштуком. Вполне возможно, он попросту врет, чтобы произвести впечатление. Он наблюдает Аришу пристальным хитроватым взором раскосых глаз сквозь медленно ползущий, увивающийся кольцами дым. Затягивается еще раз, смакуя горьковатый табачный вдох, многозначительно молчит, то ли ожидая, то ли оттягивая продолжение рассказа. Ведь она отвлекается, ее внимание рассеяно: именно здесь, в этой квадратной комнате, Аришу снова и снова уносит в августовский день три с половиной года назад, с которого все началось.

Недалеко от берега, прямо посреди моря, высилась огромная надувная горка. Упругий, разноцветный, слегка выгоревший на солнце дракон. Немного замешкавшись, она отсчитала шесть синеватых бумажек: четыре потрепанные, замусоленные сотней рук, и две новенькие, отпечатанные на днях банком чужой страны. Шесть синих купюр – столько стоил их аттракцион. Ариша отчетливо помнит, как решительно и легко ее муж взобрался на горку, прямо-таки взлетел по веревочной лестнице, легкий, умелый, будто матрос парусного судна. Или орангутанг, оказавшийся в своей стихии, среди ветвей и лиан. Взобравшись на самый верх, он уселся на фоне ясного неба, концентрата душистой субтропической голубизны. Обернулся к ней, сделал рукой нетерпеливый жест, чтобы Ариша поскорее взбиралась за ним следом. Он улыбнулся ей, как улыбался только лишь ей с момента их знакомства. Потом оттолкнулся. И молниеносно съехал вниз, в одно мгновение породив буйный всплеск моря, миллионы сверкающих соленых брызг.

Тогда Ариша неохотно устремилась следом, поздно вато поняв, что предпочла бы остаться по эту сторону спуска, чувствуя ногами жесткие ворсистые веревки-перекладины лестницы. На самой вершине надувного дракона она замерла, осмотрелась вокруг. Она запомнила и вынесла из этого дня переливчато-сверкающее, ленивое море, блеклые катамараны, баржу вдали, визг, брызги, виндсерфера с парусом в цвет греческого флага, ярко-розовый надувной круг, тысячу лет как умерший вулкан и поросший вереском утес, обрамлявшие бухту. Ликование, шум, шелест, выкрики звенели на широченном раскаленном пляже за ее спиной. Ариша струсилась, уперлась, ей совершенно не хотелось толкать себя вниз с этой удобной наблюдательной площадки. А муж уже вынырнул, рассмеялся, вытер лицо, зачесал мокрые волосы назад и поплыл к буйку, изредка размахивая руками, чтобы она поскорее решилась.

Тогда Ариша оттолкнулась и полетела вниз, утратив все опоры, вниз по ледяной резине горки, с волосами, намотанными на лицо, кубарем, заплетаясь в собственных руках-ногах, боясь, что топик купальника сорвется и утонет. И она со всей силы шлепнулась в море: грудью, головой, утопая в вихре брызг, в водовороте, с готовностью утянувшим ее, захлебывающуюся и обессиленную, до самого дна. Как оказалось, в этот самый момент неожиданно и необратимо началась новая жизнь Ариши. Три недели спустя муж вернулся из командировки слегка посторонним, отстраненным, встряхнувшимся и принялся критично обзреть всю свою сложившуюся к тому моменту жизнь. И он упорно, с каким-то отчаянным рвением начал разменивать, раздваивать чувства, каждую неделю принося домой на воротнике рубашки щедрые ароматы разнообразных женских духов: цветочных, мускусных, с ноткой древесной коры, с едва уловимым акцентом корицы. Все чаще он как бы невзначай задерживался допоздна, присылая слащавую и прилежную смс про экстренное совещание в конторе. Дверной звонок упрямо молчал в девять, в десять, в одиннадцать часов вечера, пока не пробивался снисходительным треньканьем, осчастливившая долгожданным возвращением только лишь к полуночи. И Ариша молчала, она самоотверженно играла спокойствие и веселость, не решаясь перейти к разговору, к назревшему объяснению. В те дни по ночам Ариша экстерном приступила к изучению науки слез, всего за неделю освоив древний и вечный навык беззвучного плача. Сжимая себе рот ладонью, изо всех сил сдерживаясь, захлебываясь

и давясь, она скручивалась калачиком под одеялом, оплакивая ту жизнь, в которую неожиданно угодила и в которой никогда не предполагала очутиться. Но это было только начало.

– Перестань! – резкий басистый выкрик отрывает Аришу от всего, к чему она обычно остерегалась возвращаться, от чего со временем научилась мастерски увиливать и ускользать. – Скорее вернись ко мне. Смотри на меня. Слушай дальше, девочка.

И он продолжает рассказывать про свою коллекцию трубок, чуть понизив голос, увлеченно и самозабвенно. Отвлекая внимание, он как бы украдкой медленно выдвигает тайный Аришин ящик, в беспорядке набитый ржавыми булавками, отслужившими век велосипедными цепями, ссохшимися трупиками мотыльков, размокшими конвертами, мятыми перышками из крыла голубя, разным другим ранящим ее душу хламом. Рассказывая, он как будто решительно выгребает все ее прошлое, пошловатое и безутешное, вытряхивает его в мусорный пакет, сдувает с него пыльцу и пыль. И заполняет освободившееся пустое пространство своими трубками. На смену всех печалей Ариши, вместо ее мутных, оплаканных дней выстраивается стройный, чарующий ряд. Одна к одной. Как коленки. Как тайники запретного наслаждения. Медленно, мерно, очень аккуратно. Самая обычная, зато фамильная дедушкина трубка из груши. Дед курил ее на даче, в саду, окруженный соседскими старичками, вечно что-нибудь глубокомысленно привирая и приукрашивая о своей прожитой жизни. Темно-коричневая трубка из бука, подарок коллег на защиту кандидатской. Это официальная версия. А на самом деле – это подарок первой любовницы, аспирантки из Владикавказа. Его дочери в тот момент исполнилось три месяца от роду. Но девушка была рыжая и такая нежная, что какое-то смутное чувство к ней осталось до сих пор. Пенковая трубка с резьбой, тоже подарок, а вот от кого – не сказал, суровая личная тайна. Трубка из пластика, фиктивная, вроде украшения интерьера, безобидный и малоприменимый для курения муляж. Купил ее в Риге, на барахолке. Хотел произвести впечатление на одну даму. А лучше бы и не покупал вовсе. Да, в дамах недостатка у него не было никогда. И он знакомит Аришу с несколькими бриаровыми трубками. Находит их среди нагромождения своей коллекции, бережно вылавливает из серванта, почти не задевая остальные, не нарушая навсегда установленный здесь порядок. Он по-особому поглаживает и осматривает каждую, с гордостью и заботой. Он подносит их ближе, чтобы Ариша могла рассмотреть рисунок древесины, изгиб и кривизну. Чтобы она уловила темперамент каждой, почувствовала едва уловимый аромат табака, наполняющие их черноту и гарь.

Ариша лежит под иглами, боясь пошевелиться. А он рассказывает ей про вереск. Он объясняет, что лучшие трубки делают из той части вереска, которая располагается между корнями и стволом. Чем старше кустарник, тем лучше бриар, тем ценнее получается трубка. Он делает акцент на слове «старше», при этом становясь шире в плечах, приобретая серую хитрецу взгляда, поигрывая мускулистыми предплечьями. Он разворачивает перед доверчиво распахнутыми глазами Ариши обдуваемый ветром холм над морем, похожий на круп огромной спящей лошади, поросший цветущим вереском. Черно-зеленые, с буйной розовой дымкой цветков кусты вьются, словно непослушные жесткие гривы, перебираемые суровыми сквозняками, гнездящимися на склоне. Ариша уже готова сорваться и побежать туда, она почти уверена, что сможет, несмотря на все, что когда-либо пережила, легко лететь по узенькой извилистой тропинке на самую вершину холма, среди сиреневого, розового, лилового цветения вереска. Чтобы посмотреть сверху на море, на его переливчатую предзакатную дрему. Чтобы подставить щеку теплому урагану, который будет безжалостно трепать ее юбку и, возможно, отнимет и унесет траурный атласный поясok ее кофточки. По ее глазам он читает, что Ариша впервые за весь этот курс начисто забыла про тридцать две серебряные иглы, вколотые в самые спорные мгновения ее прошлого, в самые уязвимые точки ее тела. И тогда, пользуясь ее бескрайним доверием, воодушевлением и негой, он подходит

совсем близко, заглядывает Арише в глаза, не без удовольствия отмечает жадно расширенные зрачки и сумасбродные игривые искорки. Он слегка наклоняется, будто намереваясь нежно коснуться губами ее острого плеча. Он бормочет: «Вот ты и снова в цвету, милая девочка». И когда она уже трепещет, когда ее тело превращается в теплый струящийся мед, когда она ждет с нетерпением, почти со стоном, он молниеносно вонзает последнюю, тридцать третью иглу в самый центр ее живота, в солнечное сплетение, в неразрешимый узел ее судьбы. Потом медленно и ласково утирает тыльной стороной ладони молчаливую слезинку с ее щеки, укатившуюся ручейком до самого подбородка. И тут же мастерски прикидывается утомленным, раздраженным, слегка простуженным. Умело делает вид, что не замечает, как дрожат ее губы. И старательно прячет взгляд среди заоконных пятиэтажек, чтобы не видеть ее глаз, чтобы не вникать в ее жизнь сильнее, чем ему следует.

В предпоследний день курса Ариша снова не нашла выключатель, как всегда замешкалась в прихожей, разыскивая сапоги среди завала чужой обуви, отплясывающей в полумраке на занозистом паркете залихватскую лезгинку. Как всегда, после игл она едва держалась на ногах, чувствовала себя отчаянно уставшей, но в то же время была освобожденной, преодолевшей уготованные ей муки и от этого почти счастливой. В последние дни ни одна самопроизвольная слезинка не выкатилась из ее глаз. В подтверждение тому тональный крем на ее щеках лежал как на картинке: заглянув в мутное зеркало, она решила не пудриться перед выходом.

Он неслышно возник в коридоре, пригладил волосы двумя руками, включил свет, привалился плечом к стене и насупленно наблюдал, как она натягивает и застегивает сначала один сапог, потом второй.

– Остался у нас с тобой всего один день. И потом все, разлука нам предстоит. И я ведь буду по тебе сильно скучать, – тихим проникновенным баском шутил он. – Так уж и быть, поставлю напоследок двадцать пять игл. Всего-навсего. Что для тебя теперь двадцать пять игл? Ты уж позволь старику такой прощальный привет, закрепляющий эффект курса. Полежишь с ними минут десять, а дальше – все как ты мечтаешь, милая девочка. Поедем с тобой кататься по набережной и курить по очереди трубку Сталина. Ты была послушной последние дни. Ты заслужила, я тебя слегка побалую.

Ариша расчесывает волосы, украдкой наблюдая его в мутном зеркале. Уперев кулак в бок, лениво и барственно, он рассказывает про Сталина. Всякие небылицы, скорее всего вычитанные в дешевых развлекательных газетках. Душещипательные факты, производящие впечатление и отнимающие на пару секунд покой у обывателя. О том, как Сталин бросился в могилу, когда в землю опустили гроб с его первой женой Като. Они прожили вместе всего один год. Но, по-видимому, это была любовь всей его жизни. Во время ее похорон он сказал, что холодный камень навсегда вошел в его сердце, и с тех пор он утратил сочувствие к людям.

– Видишь, милая девочка, случается иногда любовь. Даже с таким зверем, как Сталин... Эх, его бы сюда, под мои иглы, – самодовольно бормочет он. – Я бы его тут восстановил, вернул к жизни. Курса за три-четыре изъяли бы мы этот холодный камень из его сердца. Снова смог бы он у меня полюбить и людей, и женщин... И ты еще полюбишь по-настоящему. И тебя еще ох как полюбят всякие эти гибкие мальчики и бесполезные мужчинки...

Потом была среда, самый конец апреля. Снег растаял, земля успела слегка просохнуть и будто бы сжалась, затаилась в ожидании долгожданного тепла, чтобы насытиться и буйно пробиться в весну. Ариша вся была нетерпение и трепет, она почти бежала через дворы. Старательно завитые волосы пружинили на плечах, а полы серого пальто были распахнуты, как крылья. Щеки ее пылали, от этого хлесткий апрельский сквозняк казался теплым, совсем

весенним. Спеша, она зачем-то вспоминала свои протестные, мелочные измены последних лет. Все опустошительные и неловкие соития, направленные на самоутверждение, на утешение, приносившие лишь горечь и злобу. Вдруг они пронеслись в ее сознании не как черно-белый трагический фильм, а будто какой-то необязательный рекламный ролик или незначительный фрагмент телесериала, демонстрируемый в дешевом придорожном кафе. Они впервые показались ей смехотворными, незначительными и эпизодическими, как детский браслетик из леденцов, купленный на юге, для кратковременного восторга: однодневная, неважная, проходная вещица. Никакого камня в горле. Никакой рыбной кости, впивающейся в сердце. Боль ушла начисто. И горечь рассеялась. Даже эпизод, совсем недавно выкручивавший все суставы от безграничного стыда, начисто утерял свою силу. Как обреченно она ползла по коридору в тот день. В сиреневых стрингах. В лаковых туфлях на шпильке. Как она ползла на коленях, понуро опустив голову, повиливая бедрами из стороны в сторону. Медленно и манерно, беспечно и бесчувственно. А мужчина, совершенно не важно, кто именно, стоял над ней в дверном проеме, наблюдая пошловатую и фальшивую игру. Как часовой и палач одновременно. И через несколько минут он уже тащил ее в ванну, окатывал ей лицо ледяной водой, швырял в нее одежду, выставляя вон из своей жизни, потому что был сыт по горло фальшью, пустотой и полнейшим отсутствием тепла.

На этот раз Ариша даже не замечает, как оказалась на третьем этаже, перед заученной наизусть зеленой железной дверью. Ни одышки, ни сердцебиения, душа легче перышка, настроение игривое, хочется флиртовать и петь, как когда-то давно, даже не верится, что такое еще возможно. Она застывает перед заветной дверью, превратившись в дрожь, вспомнив, как неделю назад он рассказывал, что Сталин обычно набивал трубку табаком из папирос. Потрошил папиросы, как людей, вытряхивал из них табак и потом курил его в своей трубке. Он всегда курил молчаливо и насупленно. Особенно если кто-нибудь рядом с нетерпением ждал ответа. Особенно когда решалась чья-нибудь судьба. Сталин замирал, затягивался, смаковал табачный вдох и тянул время, превращая человека этим своим молчаливым курением трубки в оторопь, в страх, превращая человека в отчаянье, в пустоту, в покорность.

Ариша звонит в дверь долго и настойчиво. Она звонит и ждет. Она звонит и представляет, как он сейчас снисходительно и неторопливо продвигается по коридору в прихожую. Пропахший кофе и сладковатым табаком, добродушный и утомленный, совершенно невозможный в ее прошлой и в ее будущей жизни. И от этого такой обжигающий. Ариша ждет, вся превратившись в нетерпение. Звонит еще раз, объясняя промедление тем, что он бормочет в мобильный, как сюда добраться. Ариша ждет, представляя, как это случится. Вечерняя набережная, его машина, саднящий и горький вдох, дым во рту. Она отчетливо чувствует густой наждак его щетины щекой. Она уже наизусть, заранее знает его руки и прекрасно представляет их ласки. Она снова звонит и ждет, звонит и ждет. Потом, нечаянно посмотрев на часы, Ариша узнает, что оказывается незаметно прошел час. До нее вдруг отчетливо, яснее ясного доходит, что он не откроет сегодня. Ее курс закончен. И теперь надо идти домой, надо скорее возвращаться в свою повседневную жизнь. И жить дальше. Из-за этого двадцать пять последних игл разом впиваются ей в душу. Ровно десять минут она усилием воли заставляет себя дышать, командуя его словами: «Ну, милая девочка, вдох. А теперь выдох. И плюй на все».

На негнущихся ногах, не различая дороги, она понуро бредет через нескончаемые, пахнущие тушенкой и ваксой дворы пятиэтажек. Затаившиеся подъезды, обклеенные объявлениями о съеме квартир, отрывные листки шуршат на ветру. В ближайшие несколько дней Ариша каждые пять минут будет заглядывать в телефон, проверяя, не пришла ли от него отрывистая и суховата смс с извинением. Или приглашение прийти на последний сеанс

курса в какой-нибудь другой день. Она будет крутить телефон в руках, так и не решаясь позвонить ему, не считая это возможным. В ближайший месяц Арише будет казаться незначительным и неважным все, что с ней когда-либо произошло перед тридцатью тремя иглами, приколовшими к чужой супружеской кровати. И даже постижение науки слез покажется ей смехотворным. Пару раз как бы нечаянно, тихим затаившимся призраком она явится побродить в нескончаемые дворы возле его пятиэтажки. Ни на что не надеясь, обнимая себя руками, дрожа под плащиком, она будет заглядывать взором бездомной собаки в непроницаемые мутные окна, отражающие низкие, нависшие над крышами облака.

Целый год Ариша будет упорно ждать, что он все-таки сдержит обещание, что он когда-нибудь прокатит ее по набережной, и они будут курить трубку Сталина по очереди в его машине. А потом все это постепенно пройдет. Забудется. Отпустит. Однажды в супермаркете, выбирая бефстроганов к ужину, она неожиданно вспомнит только эти его слова, точнее, они сами собой отчетливо прозвучат в ее голове: «Постарайся найти того, кто превратит тебя в любовь, милая девочка».

Ариша будет послушной. Ариша будет прилежной. Она будет очень стараться.

Темнота

Темнота нависает, сгущается. Бродит по комнате, выплясывает, кружит. Темнота рисует пальцем над Витиной макушкой кружевные виньетки с черными завитушками. Не дает уснуть, отбивает чечетку каплями на комод, мечется из конца в конец комнаты, скрестив тоненькие ломкие ручки на груди. Темнота прыгает и летает под потолком, вглядывается в лица, бледнеющие с черно-белых фотографий над его письменным столом. Темнота сворачивается клубочком вокруг карандашницы, а потом до рассвета сидит на широченном подоконнике, обхватив коленки руками, изредка отрывисто всхлипывая и со всей силы щелкая пальцем стекло.

Соседка снизу – старушенция с вечно трясущейся головой, будто она на каждом шагу норовит избавиться от войлочной шляпки со свалывшейся войлочной розой. Однажды она подошла к Вите во дворе и настойчиво прошептала: «Так и знай, мальчик: чего сильно задумаешь, то и будет. Чего пожелаешь всем сердцем, то и случится. Поэтому думай осторожней. И мечтай аккуратнее, чтобы потом тысячу раз не пожалеть об этом».

Произнося эти слова, она крепко держала Витю за запястье и вглядывалась водянистыми глазами в самое его нутро. Вспыхнув, растерявшись, Витя хотел заплакать, но потом со всей силы выдернул руку из цепкой старушечьей клешни, вырвался и убежал. Старушенция потом несколько раз жаловалась матери, настаивая на том, что ее сын – дикий и невоспитанный, поэтому за ним надо бы как следует приглядывать. И вообще быть с ним построже.

Все началось тем вечером, когда родители неожиданно заперлись в комнате и долго шипели друг на друга. Вите ничего не оставалось, как притаиться под столом в детской и тревожно вслушиваться, улавливая разрозненные клочки их разговора. Сиплый, тихий басок отца. Визгливый, слегка гнусавый голосок матери. Всхлипы. Отрывистые выкрики. Настойчивый стук ложки по батарее – снова разбудили эту вредную старушенцию снизу. Вязкая тишина, длившаяся не более пяти секунд, мгновенно прорастала недовольным шепотом, возобновляющимися перепалками. Через неделю появился маленький чернявый Илюша. Его привели в воскресенье, после полудня, замотанного в вязаный шарф, укутанного в синюю курточку, которая была велика на пару размеров. Два черных цыганских глазка с птичьей проворностью сновали по стенам, скользили по мебели, а ручки с тонкими длинными пальцами ухватили за хвост плюшевого кота и крепко прижали к груди.

Родители с какой-то незнакомой, особенной прилежностью объяснили появление Илюши отъездом его матери, «нашей» дальней родственницы, на север. Понимаешь, – говорили они наперебой, как-то медленно, слегка убаюкивая, – его мама уехала на север, далеко-далеко, туда, где всегда холодно и темно.

Илюша был малоподвижным, тихим и молчаливым. Он как будто слишком увлекся и никак не мог прервать игру «морская фигура, замри». Он замирал в кресле. Замирал за кухонным столом, никогда не болтал ногами на высоком незнакомом табурете. Но чаще всего Илюша замирал возле подоконника, положив голову на руки, без интереса вглядываясь в вечернюю улицу. Потом оказалось, что Илюша немой. Неожиданного и неуютного гостя разместили в детской, на купленной по случаю его прибытия деревянной кровати, из-за которой родители до полуночи двигали мебель, стараясь быть бойкими, не подавая вида, что оба озадачены и раздражены.

Теперь Витя должен был спокойно сносить, когда этот Илюша без спроса роется в шкафчике с игрушками. Теперь Витя должен был с доброжелательной улыбкой наблюдать

за бездумными движениями узловатых пальцев гостя, отрывающих колеса от грузовика и наклейку – от гоночной машины.

Вечерами Витя теперь бродил вокруг дома, ощущая чужую влажную руку, крепко впившуюся в собственную ладонь, будто кто-то сплавил две руки так, что их никогда уже больше не удастся разъединить. Молча, без дела, они вдвоем маршировали в темноте, вокруг зловещей громады здания со множеством светящихся глаз. Он чуть тащил Илюшу за собой, спеша поскорее совершить положенные им десять обходов гуляния и вернуться домой. Он старался не замечать смешки играющих во дворе бывших своих приятелей, которые быстро во всем разобрались и начали дразнить его нянькой. Совсем скоро у Вити не осталось друзей во дворе, никто не хотел брать немного в компанию, впускать немного в свои игры. Скоро у Вити не осталось никого, кроме этого вечно молчащего задумчивого галчонка, который любит сидеть у окна, никогда не говорит «спасибо» и, забившись в уголок детской, пугливо глотает пирожное, целиком, давясь, кашляя до слез, боясь, что угощение отнимут. Витя почти ежедневно получал оплеухи от отца за нежелание учить язык рук, за очередное непонимание знаков, которые делал ему Илюша, внушавший все большее отвращение этой своей зловещей немотой, за которой пряталась пугающая неизвестность и, возможно, какая-то страшная и печальная тайна. По утрам немой подолгу замирал перед зеркалом в ванной, шмыгал носом, кашлял от зубной пасты. По вечерам, затаив дыхание, этот невыносимо скучный Илюша часами без движения сидел у окна, вглядываясь в синюю темноту двора. Иногда он неожиданно прыгал на постель и лежал, уткнувшись лицом в подушку, мыча что-то неразборчивое, тревожное, мучительное, так, что сразу очень хотелось убежать без оглядки.

Витя все чаще испытывал разрастающееся в груди, сводящее руки и ноги желание, чтобы незваный гость поскорее сгинул, исчез, растворился. Однажды он не сдержался и отвесил немому несколько подзатыльников перед телевизором, чтобы тот подвинулся, а не сидел, с громким хрустом уминая крекеры, осыпая все вокруг крошками, перегородив экран, словно находится в детской один. Возможно, в тот раз Витя был даже слишком жесток и поколотил гостя сильнее, чем надо бы. Немой тихо всхлипнул, насупился, направился в комнату родителей, но все же не пожаловался, может быть, просто не сумел подобрать нужные слова жестами своих бледных ладоней и плетением кружева длинными костлявыми пальцами.

Ночью можно было ненадолго забыть о существовании немого, не обращать внимания на его тихое сопение и редкие слабые стоны. Иногда под утро, пошатываясь, призраком передвигаясь по комнате, Илюша зачем-то подходил к Витиной кровати, касался холодной ладошкой плеча. Тряс. Белесое пятно лица, вздыхающее в фиалковом свете, одними губами беззвучно пыталось что-то сказать. Витя отворачивался. Сжимался. Накрывался с головой одеялом. Его потом долго трясло от ярости, он лежал, поджав ледяные ноги, изо всех сил сдерживая выкрик: «Отстань, ненавижу тебя!»

Болезнь дала о себе знать неожиданно: немой начал худеть. Проступили синие узоры сосудов на висках, настороженные черные глазенки заметно ввалились, вокруг них возникли серо-синие круги. Пухлые детские щечки утратили румянец, вскоре белесая кожа обтягивала худенькое утомленное личико. Нос, напротив, стал длинным и заострился, придавая мальчику еще большее сходство с галчонком. Воспаленные обкусанные губы стали тоньше и бледнее, как будто кто-то каждое утро капал на них растворителем, вскоре лишь узенькая белесая полоска обозначала рот. Хрупкие прозрачные ладошки с узловатыми пальцами теперь всегда были ледяными. Прозрачный и тусклый, Илюша подолгу неподвижно сидел в углу, широко распахнув глаза, словно пытался расслышать неуловимую мелодию, упрянтанную в шум, помехи радио, гудки улицы, скрипы паркетин, голоса. Немой несколько раз сам пытался объяснить жестами, что он чувствует. Он жаловался на такую особую боль,

как будто кто-то выпивает его через трубочку, оставляя во всем теле нарастающую слабость и головокружение. Вскоре его худоба стала бросаться в глаза соседям, прохожим. Люди на улице указывали пальцами:

– Смотри, какой слабенький мальчик, похож на птичку. Как же он, наверное, мало ест.

Та самая трясущаяся старушенция снизу при каждой встрече действительно рассказывала матери про малокровие у детей. В мутных глазах старухи читался упрек: «Своего-то кормишь, а чужого заморила». Мать оправдывалась, что аппетиту племянника можно позавидовать. И гемоглобин у него в норме. И анализ крови в порядке. А сама, смутившись и опечалившись, опускала глаза, спешила поскорее уйти.

Однажды отец, желая как-то отвлечь немого от этого упрямого вслушивания в тишину, подвел его к дверному проему, на котором отмечал рост своего сына и недавно стал отмечать рост племянника. Илюша, полюбивший этот ритуал, с готовностью прижался спиной и затылком к дверному косяку. Он старательно расправил острые плечики в байковой клетчатой рубашке. Почему-то отметка роста оказалась на два сантиметра ниже той, что сделана месяц назад. Так выяснилось, что мальчик не только худеет, но и медленно уменьшается, словно с каждым днем чуть-чуть растворяется и тает. После этого родители стали наблюдать и вскоре убедились: увы, ребенок теряет не только в весе, но и в росте. От утра к утру это становилось все более очевидным. Казалось, немой таял по ночам, не в силах поведать об ужасе и боли, обволакивающей его мокрым мышинным нейлоном.

Под утро Илюша все чаще приглушенно стонал, всхлипывал и ворочался до тех пор, пока в комнату не врвался кто-нибудь из взрослых. Включали свет, садились на краешек кровати, гладили страдальца по голове, читая слабость и страх в воспаленных детских глазах. Яркая вспышка света врвалась, раскалывая сон. Удар света парализовал, заставлял Витю натянуть одеяло на голову, сжаться и слушать голоса родителей, шелест, шаги у Илюшиной кровати. А еще иногда – всхлипывать и спросонья шептать на все лады: «Я тут ни при чем. Эта старушенция снизу все выдумала. Я не хотел. Он заболел сам».

Днем Илюшу пичкали витаминами, шалфеем, размятыми в чайной ложечке таблетками глюконата кальция, лимонами, творожной массой с кусочками фруктов, шоколадками в красочных фантиках, запеканками, булочками и куриным бульоном. Днем немого кутали, купали ему игрушки, водили в цирк, в сосновый лес дышать смолистым воздухом. Потом повели по докторам, которые советовали каждый свое: один – заниматься оздоровительной физкультурой, другой – съездить в Коктебель, третий – пройти курс физиотерапии. Четвертый, именитый профессор детской больницы, порекомендовал полугодичное лечение новым японским препаратом «Най-ши», одна упаковка которого стоила половину зарплаты отца. Доктор из Филатовской больницы советовал удалить гланды и аденоиды. Частный врач настаивал на удалении только гланд, закаливании и контрастном душе. И, наконец, врач-ирландец с международным дипломом направлял на обследование в клинику английского центра здоровья семьи. Никто не мог объяснить, что стряслось с ребенком. Тем временем мальчик продолжал таять. Родители самостоятельно пришли к выводу, что это странное необъяснимое истощение происходит в основном по ночам. Они стали поить Илюшу перед сном медом, отваром валерианы, липовым цветом, смазывали ему пятки прополисом, прикладывали листки подорожника к вискам. Читали ему на ночь веселые, нестрашные сказки. Они по очереди сидели у кровати, держа Илюшу за руку, которая тем временем, не переставая, продолжала таять.

Однажды, когда болезнь уже перешла в тяжелую стадию, вся семья проснулась ночью от тягостного стога и приглушенных всхлипов, мечущихся по квартире обезумевшей стаей скворцов. Вытащив немого из постели, родители повели его, укутанного в плед, на кухню. Прижавшись к косяку кухонной двери, наблюдая родителей, суесящихся вокруг Илюши, в

длинной майке и спортивных штанишках по колено, заменявших ему пижаму, Витя затих и наблюдал. Отец взял мать за руку и, указывая глазами на сонного, закутанного в серый шерстяной плед Илюшу, прошептал:

– Смотри, это происходит не просто ночью, это происходит в темноте.

Так догадались, что Илюша истощается, когда комнатка погружена во мрак или когда помещение слабо освещено. На следующий же день Витю перевели спать в гостиную, на неудобный диван с большими и жесткими валиками. В детской по настоянию матери два электрика прикрутили к потолку галогеновые лампы. С тех пор там всегда горел свет, отчего истощение мальчика немного замедлилось. Теперь по ночам, в сгустившейся темноте, в коридоре скрипели паркетины, за дверью гостиной шептались еле слышные голоса. Стоны, снова хождение, голосок матери, бодро и ласково читающий: «Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот, задом наперед».

Однажды, прислушавшись, Витя уловил сквозь плеск льющейся на кухне воды приглушенное шипение отца: «В конце концов, это же твои родственники. Я не виноват, что мальчик потерял родителей. Вот увидишь, он заразит нас всех. Я не хочу болеть, не хочу скитаться по больницам... Ты всегда думаешь о ком угодно, кроме меня». Упавшая на пол железная крышка или миска, прозвучавшая какой-то роковой литаврой. Тишина. Шаги. Шелест. Хлопнувшая входная дверь.

Утром Витя не спросил, почему отца нет дома. Не спросил и потом. Они боролись с болезнью немого вдвоем с матерью. Оказалось, что еще одним врагом была тень: прохладные тени деревьев, тени домов, даже тени людей вызывали мгновенное обострение. Илюша бледнел, словно тени высасывали его внутренности и силы, делая все тоньше, все тише. Вскоре Илюша был вынужден круглые сутки сидеть в детской при включенной лампе дневного света, прижимая худенькими ручками к груди плюшевого кота. Состояние мальчика стало критическим, мать за чаем все чаще говорила сама с собой о том, что больного может погубить одна-единственная темная ночь. «Одна ночь – и все будет кончено», – причитала мать, всхлипывая, ломая руки, наливая себе коньяк в маленькую граненую рюмку. От этого страх и тревога начинали метаться по телу Вити стайей осенних галок. Его внутренности чернели. Он снова начинал невыносимо сожалеть о том времени, когда Илюша только-только появился в их доме, такой тихий, испуганный, в синей клетчатой рубашке, часто замирающий по вечерам у окна. Как можно было на него сердиться? Если бы не болезнь, сейчас они, наверное, уже стали бы настоящими друзьями, играли в железную дорогу, строили во дворе песочную крепость и закапывали в тайники вокруг дома солдатиков, машинки и всякие другие свои сокровища. Теперь Витя отдал бы все игрушки и даже свою новую зимнюю куртку, лишь бы Илюша поправился и больше никогда не стонал по ночам. Но его сожаления и его дары ни на что не влияли. И лучше не становилось.

Прошел год. Илюши уже практически не было. Он превратился в маленький бледный призрак, в худенький обмылок-послед. Неподвижно лежал на кровати без покрывал, без одежды. Часами разглядывал пространство перед собой неморгающим, жалобным взором цвета утреннего тумана. Отец так и не вернулся, о нем постепенно совсем забыли за бесконечными хлопотами вокруг больного. Болезнь не отступала, она со временем лишь затаила дыхание, замедлила шаги, будто дожидаясь любой нечаянной, едва уловимой тени, которая сумеет ворваться и выпить все силы до последней.

В ту ночь ранней весны квартира неожиданно погрузилась во мрак, словно лопнул шар, наполненный черной ваксой, которая тут же растеклась повсюду. В первый момент Витя и мать, сидевшие у кровати Илюши, даже не поняли, что произошло. Они застыли и замерли

в оторопи, в нарастающем ужасе. Опомнившись, мать подбежала к окну, раздвинула шторы и поняла, что окна всех соседних домов тоже темны. Дрожащими руками она чиркала спичкой, пыталась зажечь свечки в тяжелом чугунном канделябре. Пламя плясало от сквозняка, спички гасли в ее торопливых трясущихся руках. Крепко сжимая канделябр, мать подошла к кровати Илюши, который за это время уменьшился почти вдвое и, тяжело дыша, исчезал на глазах.

Мать металась по комнате, распахнула окно, закричала темным ослепшим домам: «Помогите хоть кто-нибудь!». Она рвала руками черные, чуть седеющие волосы, утирала слезы рукавом растянутого свитера, а Витя судорожно искал закатившийся куда-то фонарик, чтобы осветить комнату хоть немного. Крохотный, бессловесный, едва различимый контур ребенка с большими испуганными глазами тихо стонал, пожираемый темнотой. Фонарика нигде не оказалось. К утру Илюши не стало.

С тех пор темнота изменилась. Илюша незримо присутствовал в ней, вызывая страх и тревогу с приближением вечера, будто совсем скоро предстоит решающий разговор. Расплывчатые контуры предметов таили в себе молчаливый укор, смутное присутствие, неотделимое от мрака. В одну из ночей сытая темнота загустела и окутала комнату, прислушиваясь к приглушенным рыданиям Вити под одеялом. К утру он выткал пальцами, зовущими: «Илюша, Илюша!» – черный платок тончайшего, невесомого кружева. И положил его на подушку пустой кровати.

Со временем Витя заметил: утром темнота растворялась, поспешно подбирая оброненные тут и там лохмотья. Тонкую вуаль с пола, чулок, поникший на дверце комода, шаль, скомканную в углу, черное манто из-за двери, плащ, расхристанный по потолку, – еще недавно принадлежащие кому-то, кто теперь растворился во мраке.

Утром темнота уходила, воровато оглядываясь по сторонам, вжимая голову в воротник. Становилась все тоньше, все жиже, пока не начинала казаться смешной, пока не смешивалась с обрывками снов, ускользающими внутрь ночи.

Спустя сотни чашек полуночного чая, после вороха ночных газет, пробегаемых наискось, чтобы отвлечься от сожаления, после целого шкафа предрассветных книг, пролистанных от невозможности покоя, ускользающая от первых лучей темнота все же захватила и унесла с собой черный кружевной платок Витиной печали. С тех пор стало легче, не так горько и его бессонницы почти прошли.

Аккордеоновые крылья

До 15 мая распорядок дня Антонины можно было бы без труда вписать в страничку небольшого блокнотика на пружинке. Просыпаясь, через несколько секунд она вспоминала, что живет в Москве, в две тысячи таком-то году. С этого начинались все ее неприятности. Ей-то хотелось бы жить в глубинке, в начале пятидесятих годов. Чтобы в доме был патефон. И каменный кусковой сахар, который надо колоть щипцами. Чтобы на кухне был буфет и в нем – тонюсенькие фарфоровые блюдца, из которых, закутавшись в шаль, неторопливо прихлебываешь чай. А еще чтобы в комнате была железная скрипучая кровать с пуховой периной, вязанное крючком покрывало, скатерть и кружевная салфеточка – на радиоле. Чтобы был еще жив Сталин, но совсем скоро должен был умереть. Но главное, самое главное, чтобы все в ее жизни происходило в три раза медленнее: и труд, и отдых, и увлечения, и взаимность.

Вспоминая рано утром, что родилась не в том месте и не в то время, Антонина страдала. Утопая в белом, она отчаянно и упрямо рассматривала потолок, будто ожидая, что на нем проступит подсказка: как же жить дальше. Ей совершенно не хотелось отрываться от подушки и тем более выходить на улицу, в непонятное время и в малопригодную для ее процветания местность. Поэтому каждое утро она отчаянно придумывала какие-нибудь вселяющие надежду и бодрость слова, чтобы обмануть себя, пересилить тяготение матраца и все же вырваться из постели в этот чуждый и пугающий мир. Антонина знала: правильные утренние слова будут действовать до самого вечера. Тогда наступающий день станет плодотворным, ознаменуется приятными событиями и всякими неожиданными удачами. Ей казалось, что утренние слова лучше обновлять и освежать раза три в неделю. И внимательнее проверять их действие опытным путем. Если день удался, значит, слова были подобраны верно. Если же день сложился дрянной и унылый, значит, что-то было напыщенно или фальшиво сказано. Или произнесено слишком тихо, ведь громкость утреннего лозунга создает силу, необходимую для выхода в вертикальное положение и совершения последующего бодрствования. Именно громкость утренних слов заряжает тело дозой надежды на складный день, чтобы его захотелось прожить.

Иногда Антонина шептала, как когда-то в детстве мать, пытаясь добудиться ее перед школой: «Вставай, Тонюшко». Или восклицала голосом давно почившего диктора, бубнящего радиопьесу: «Пробуждайся, человечие, тебя ждут великие дела!» Иной раз она по-армейски хлестко оглашала на весь подъезд: «Итить была команда!» Частенько кокетливо мурлыкала самой себе: «Чай с пирогами!» Или тягостно, как ныне почивший дэзовский газовщик, выдыхала: «Будет день, будет и песня!»

Подзарядившись таким нехитрым образом, Антонина нехотя скидывала толстые белые ноги с постели. Прислушиваясь, не капает ли кран, она сидела огромной расплывшейся глыбой на краешке кровати в ночной рубашке с кружевами и лютиками. И соображала, как именно ей следует жить дальше. В теле Антонины было слишком много жира, ее сосуды были выстланы толстым слоем чуть теплого топленого масла. Мозг Антонины не справлялся со сложными вопросами и буксовал вхолостую. Как исправить ошибки и решительно встать у штурвала своей жизни, Антонина не представляла. Это ее расстраивало и сердило, она всхлипывала от отчаянья и через миг-другой начинала испытывать необъятное чувство голода.

Завтракала Антонина всегда с большим удовольствием. Она ела огромную тарелку манной каши с поструганной туда шоколадкой, уплетала толстенный бутерброд со сливочным маслом и пошехонским сыром, как в детском саду. Она ежедневно выпивала пол-литровую супницу горячего какао с четырьмя ложками сахара. А сыр отрезала по старинке, большим и острым, слегка заржавелым по краешку ножом. Прижимала кирпичик сыра к

текучим грудям и медленно отделяла от него толстый широкий ломоть. Антонина завтракала всегда неторопливо, под звуки задумчивой фортепианной музыки из радио. Это подкрепляло ее силы. И скоро она чуть смелее смотрела за окно на улицу. Потом спохватывалась и устремлялась к вешалке с коричневым костюмом в клеточку: пиджаком и юбкой. А под пиджак всегда надевала белую блузочку с оборками на груди. Грудь Антонины была непомерно велика. Лифчики на такую не налезали. А то, что натягивалось с пыхтением и охами, называлось бюстгальтерами, их приходилось шить на заказ в ателье, возле заправки. Талии у Антонины никогда в жизни не было, на ее боках висели большие складки, необходимые человеку в условиях вечной мерзлоты и оккупации, но бесполезные женщине в мирное время. Зад Антонины показался бы великоватым даже любителю больших и богатых задов. И даже любитель монументальных задов скорее всего пустился бы от такого наутек. Поэтому Антонина всегда внимательно оглядывала стул, кресло или табуретку, прежде чем опуститься. Она очень боялась придавить какое-нибудь маленькое или среднее безобидное существо. Она вообще очень любила все живое и опасалась как-нибудь ненароком его обидеть. Поэтому подоконники были уставлены большими горшками и маленькими горшочками с фиалками, каланхоэ и фикусами, которые Антонина принимала в подарок, подбирала в подъезде, забирала после умерших соседок и, не решаясь выбросить, оставляла у себя. Еще с ней жили две найденные во дворе кошки: рыжая и трехцветная. Но, вразрез с приметами, это не приносило ни денег, ни счастья. Зато натягивание колгот ежедневно отнимало у Антонины пятнадцать минут. Соседи были уверены, что по утрам она смотрит сериал о жизни животного мира – так сильно она рычала и пыхтела, пытаясь застегнуть юбку.

Управившись с юбкой, кое-как застегнув пальто, Антонина отправлялась на работу. Выйдя из подъезда, напускала на себя невозмутимый и решительный вид. Это придавало ей некоторое сходство с боевым слоном. Когда она чинно брела к метро, со стороны можно было подумать, что ничто не способно поколебать ее спокойствие и крепкий рабочий настрой. На самом же деле необъятная туша слона была лишь спасительным муляжом из пенопласта. Оттуда изнутри, через прорези подведенных синим карандашиком глаз, с ужасом и тоской оглядывал окружающее крошечный и хрупкий представитель семейства грызунов. Возможно, ангорский хомяк. Или монгольская песчанка. Все вокруг удивляло и пугало Антонину. Особенно другие женщины, их подтянутые загорелые тела, упругие икры, бодрая походка, крепкие груди, завитые волосы с вовремя покрашенными корнями. Антонина с замиранием сердца изучала их босоножки, цепочки, бусики, сумочки – все, что удавалось углядеть за семь минут дороги до метро. Множество вопросов намечалось в голове Антонины. Что движет этими женщинами – вот первый и главный из них. Что за волшебная сила помогает им оставаться такими свежими в восемь тридцать утра? Что помогает их волосам выглядеть так привлекательно? Откуда они берут эти красивые вещи? Как они поддерживают себя в такой форме? Ничего не понимала Антонина и чувствовала, что напроочь отстает от времени. Черт его знает, может быть, надо колоть куда-нибудь молодильные яды или, наоборот, безжалостно выдавливать и вырезать все, что мешает жить. Ей снова хотелось есть, ее нервы, обложенные густым желе, не справлялись с морем захлестнувших вопросов, искрились от напряжения, истощались и срочно требовали спасительного пополнения запасов. Ноги Антонины подкашивались, голова начинала кружиться от голода. Тогда, чтобы не оступиться, чтобы больше не искать объяснений окружающему, Антонина признавала, что плетется в хвосте пестрого, разодетого и подтянутого женского воинства. И что у нее нет шансов преуспеть в это самое время, в этом вот городе. Поэтому у Антонины был такой печальный и унылый вид, когда она втискивалась в вагон метро. Но ровно через четыре станции она поднималась на эскалаторе в город во вполне сносном настроении, любуясь на основательные колосья лепнины, на звезды и статуи пловчих, сохранившиеся в вестибюле

со стародавних, советских времен. Потом покупала в ларьке три теплые булочки с сосисками, нежно заворачивала их в голубую салфетку, прятала в сумочку и совсем счастливая сворачивала в нужный переулок.

Работала Антонина в отделе кадров небольшой кондитерской фабрики, производящей пять сортов мармелада, три вида зефира и суфле. Она сидела в крошечной комнатке, полу-сонная от ароматов ванили и жженого сахара, за столом, заваленным документами по производству, усовершенствованию и реализации мармелада и пастилы. За тремя остальными столами неумоимо крутились, хихикали и щебетали непоседливые румяные тетушки и по три раза в день пили чай.

Шумно и многолюдно было в отделе, весь день проходила перед глазами Антонины нескончаемая вереница озадаченных нуждами людей. Объявлялись молчаливые, говорливые, насупленные, в лучших своих пиджаках, в выходных накрахмаленных кофточках. Приносили с улицы слякоть, морозный сквозняк, щетинистый запах пены для бритья, нагоняющие чихоту шлейфы духов, горьковатый смрад папирос. Аж дрожа всем телом от старания, выводили они служебной ручкой на чистом листке: «Заявление. Прошу зачислить меня на должность такую-то». Робко извлекали из карманов шоколадки с орехами, настоятельно оставляли к чаю мармеладные дольки. Благо магазинчик при фабрике – в двух шагах, на углу. Объявлялись резковатые рабочие фасовочного цеха, мямля и шаркая, упрашивали отпуск в июле, подносили в кульках новый сорт суфле в виде бабочек или фруктовую пастилу, на которую уже тошно смотреть. Уходила в декрет оператор линии, туговатая на левое ухо, но яркая женщина, щедро одарила весь отдел громыхающими как погремушки коробочками клюквы в сахаре, еще теплой, сегодняшней. Увольнялся взбешенный Колька-слесарь, разобиженный на штраф за пьянство, и все ж стыдливо извлек из пыльной сумки две коробки зефира в шоколаде, «для моих любимых девочек, для душистых понимающих дам». Выдавали каждой женщине фабрики под Восьмое марта бумажный пакет со стрекозами, в нем – две коробки ананасовой пастилы, клубничный зефир сердечками и кокосовый ликер. Как в позапрошлом и прошлом годах, как всегда. Заносчиво увольнялась технолог Танюша, гордая своими ногами и ресницами, какой уж у нее повод назрел, какая шлея ее вынудила: подпись под заявлением чиркнула, дверью грохнула и с пустыми руками удалилась. Вереница лиц мелькала перед Антониной каждый день, нескончаемый хоровод людей с просьбами, с настоящими мольбами, с обидами. Но не попадалось среди них задушевного, хоть чем бередящего. Все мелькали озадаченные работники с их бедами, с их настойчивыми срочными нуждами. Щедро и участливо кивая на жалобы, лепила Антонина в уголках заявлений печати фабрики: треугольную и квадратную, с гербом. Пару раз тут за ней пытались приударить, но она всех легонько осаждала: «Не мое это амплуа – служебный роман...»

Все без исключения сослуживицы были хуже Антонины. Поэтому они относились к ней с теплотой и сочувствием. О личной жизни не справлялись. О своих семейных радостях шушукались узким кружком. Зато ее отказ от завершающего вечернего чая всегда воспринимался в этой комнате как грустная неизбежность и правильный выбор. Но мармелад, пастилу и другие благодарности посетителей всегда делили без учета привилегий, старшинства и худобы, как сестры – поровну, на всех.

Возвращалась Антонина с работы дворами, в назревающих муаровых сумерках. Сжимала под мышкой одну, две или три коробки дареных сладостей. Умиротворенная, чуть уставшая, не особенно спешила к пустым стенам ночевать. По дороге, годами зазубренной, по которой могла бы и с завязанными глазами пройти, брела она прогулочным шагом, рассеянно наблюдая прохожих и машины. Ко всем вокруг относилась в эти часы с музыкальной какой-то приязнью. Подмечала в снующих по улицам приметы тихого отчаянья, примире-

ния с собой, блаженной опустошенности, которая устанавливается на лицах столичных в будние вечера. Приглядывала Антонина украдкой и за сплетенными в проулках парочками, горячо, протяжно целующимися в сумерках, будто норовящими остановить время вокруг себя жадной этой истомой, ненасытным сплетением языков и рук. Вспоминала, как один ухажер вползал ей в рот своей губастой пастью, словно намеревался челюсть выломать и в организм к ней через глотку нырнуть. Поцелуи свои сокровенные, как костяшки счетов, как бусины четок, ненароком выкатывала Антонина из отжитого, вспыхивая и самую малость млея. Гадала уже без волнения, не как раньше бывало, а спокойно и рассудительно: стрясется ли с ней когда-нибудь еще взаимность или хотя бы близость – душевная, счастливая, мимолетная. А потом уж приходил черед удивляться начесанным свежим гривам пассажи-рок метро в этот поздний час. Озадачивалась Антонина их неутомимой, отчаянной женственностью, от которой становится не мнущейся любая ткань, пудра льнет к щеке, тушь к реснице клеится накрепко и сияет с утра до вечера на губах даже самый дешевенький блеск.

Покупая на ужин нарезной батон, кефир и порцию рыбного заливного с розочкой из моркови, размышляла Антонина над своими вечными вопросами. Прямо в круглосуточном, многолюдном, пахнущем мешковиной и селедкой магазинчике растерянно соображала: в чем секрет обаяния, в чем загадка бердящей привлекательности, этой стойкой, будто солдат у Вечного огня, женственности, что кипит внутри, или тлеет, или парится на медленном огоньке, всех подряд обещающая и насытить, и обласкасть. Не найдя ответов своим умом, от натуги опять проголодавшись, поскорее прятала кефир, батон и порцию заливного в сумочку. И бежала под укрытие родных стен, ужинать с телеканалом «Зарядье», по которому ночь напролет крутят старые черно-белые фильмы: о войне, о труде, о взаимной и неразделенной приязни.

Спала Антонина чаще одна, широко и размашисто раскинувшись на кровати, во сне причмокивая, словно ей снится кисель. Но иногда чудо случалось, утром мужчина яростным мотором грузовика похрапывал рядом, отеснив ее разогретым дыханием к стенке, или же ютился, отодвинутый телесами Антонины на самый край. Вероятность всего этого была мала. Но вероятность такая и по сей день очень даже имела. Раза три в году находился один какой-нибудь и под разными предложениями: хитростью, нежностью или издевкой, добродушием или всесокрушающей своей прямоотой – проникал в постель к Антонине. А бывало и сама она вдруг, утратив ощущение тела, не чувствовала ни локтей, ни коленей. Начинала остро скучать по ласке. Мечтала по вечерам, чтобы кто-нибудь ее неторопливо и умеючи погладил по молочным рукам, по дородным бедрам, по спине дрожащей, по мягкому животу широкой своей ладонью. Грезила, чтобы кто-нибудь подышал ей в шейку своим теплом, нежно прикусил мочку уха, медленно покатав при этом во рту бабушкину золотую серьгу с рубином. Изведая основательно, в скором времени кое-как обзаводилась Антонина мужчиной, приводила его к себе домой – ночевать и миловаться в темноте. И тогда уж весь график ее утра оказывался сорван. Мужчина, приведенный на ночлег хитростью или вломившийся в квартиру по собственной прихоти, будто природный катаклизм вносил в жизнь Антонины хаос и разрушение, безжалостно выкорчевывал весь распорядок дня, раскидывал в разуме так старательно разложенное по полочкам. Как следствие этого каша пригорала, ножка кровати отваливалась, колготы лопались, бюстгальтер безвозвратно исчезал с вешалки, рвалась нитка и раскатывались по квартире граненые гранатовые бусинки, а на юбке обнаруживалось неприличное на вид пятно. И опаздывала Антонина на совещание. Вдруг зачем-то чересчур строго придиралась к посетителю, объявившемуся предьявить больничный. И, удивив сослуживиц до тактичного молчания, выпивала четвертый за день чай, ненасытно заедая вафлями и суфле. Но зато ощущение тела к ней возвращалось. Ликуя, Антонина чувствовала свою спину, и колени, и живот, и мочку уха, и шею. Оживленная таким образом

на некоторое время, она принималась снова откладывать на поездку к морю, ограничивая себя в раздумьях над неразрешимыми вопросами, а как следствие – урезая расходы на еду и незначительно, самую малость худея.

И вот однажды, в буднее утро 15 мая, будильник в квартирке Антонины основательно и упорно промолчал. В комнатах царила густая, наваристая, будто яблочный мармелад, тишина. И еще гулял вихрастый сиреневый сквозняк: проникнув через форточку на кухне, врываясь в спальню и в крошечную гостиную, шевелил, шерудил, перетряхивал все на своем пути и с решительным присвистом ускользал через щель входной двери на лестницу. Обдуваемая и освежаемая, разомкнула Антонина в тот день глаза по собственному желанию. Будто бы помолодев, беспечно потянулась и безо всяких вспомогательных лозунгов, без своих обычных утренних слов резво выскочила из кровати, кинулась расшторивать окно и скорей впускать в комнату солнце. Совершила она по пути на ковровой дорожке полный восторга и нетерпения пируэт, издали напоминающий физкультурную ласточку, фигурное катание и еще готовность заключить целый мир в объятия. Но больше в то позднее утро ничто не выдало ее настроения, не сообщало о намерениях.

Упустив из внимания завтрак, позабыв предупредить сослуживиц о своем сегодняшнем отсутствии, Антонина рассеянно хлебнула из кружки вчерашний чай и принялась наглаживать выходное платье: скромное, на пуговках, в почти неразличимый постороннему глазу узор из незабудок. Облаченная в платье и босоножки, уложив каштановые волосы волнами, на пороге она всплеснула руками, кинулась назад в комнату. Здесь, кое-как справившись с волнением, чинно и взвешенно выловила Антонина из серванта перетянутый резиночкой конверт с деньгами, за многие годы наконец-то скопленными на море. Извлекла банкноты. Уважительно плюнула на палец, медленно и вдумчиво пересчитала, декламируя шепотом, будто стихи: пять, десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять. Перетянула аккуратную стопочку резинкой. Выхватила с нижней полки серванта две коробки суфле, нового сорта, в виде бабочек. Решительно сжала все это покрепче под мышкой. Придирчиво, но удовлетворенно оглядела себя в зеркале с головы до ног. Застегнула намеренную выскользнуть из петли пуговку на груди. И пошла.

Продвигалась Антонина в то позднее утро по своей обычной дороге к метро так, будто в этом городе, очень близко, по ту сторону проспекта, за обувной фабрикой и бескончаемыми рядами гаражей притаилось море. Шла она по тропинке маленькими, но целеустремленными и твердыми шажками, будто море в этом городе было теплым. Будто оно звало Антонину, будто оно ждало Антонину, раскинулось от края до края, затопив однообразные блочные шестнадцатизэтажки, ларьки, супермаркеты, овощные магазинчики, пахучие хозяйственные отделы и окраинные лавки распродаж. Будто распахнулось это море исполинским взволнованным серо-сизым глазом и высматривало вдали одно лишь скромное платье с пуговками и почти незаметным узором из незабудок. Вот как в то утро двигалась Антонина по тропинке, не засматриваясь по сторонам, ничего не замечая вокруг.

Чуть вытянув шею, напряженно высматривала она что-то вдали, немного сердясь на гудки и смех, на звуки пожарных сирен, на окрики прохожих, на шарканье их ног, на мельтешение их лиц. Шла, вслушиваясь, будто ожидала ухватить, уловить там, за границей шума, в логове тишины что-то такое важное, роковое, от чего зависела вся она и сегодня и в последующем с головы до пят. Тихонько постукивали каблучки босоножек по асфальту. Струилось, играло с ветром светлое платье. Волосы лежали коричной пряной волной. И вся Антонина сейчас была слух. И вся Антонина сейчас была взгляд. И была она закипающим на медленном огне мармеладом. Грациозно и решительно ступала, покачивая бедрами, поигрывая глазами, будто завоевательница и сдающаяся одновременно. Настороженная. Затаив-

шаяся. Готовая из-за любой осечки сломаться, рассыпаться в пыль. Вот, вроде бы уловила. Да, так и есть: сквозь шум, гудки, выкрики. На своем обычном месте, в двух шагах от метро, неуловимо, совсем шепотом звучал вальс.

В двух шагах от метро, на бугристой асфальтированной площадке, где раньше располагался ларек папирос, возле двух бабок, одна из которых продает носки и носовые платки невыразимых расцветок, а другая, в мокром на вид берете, кротко торгует квашеной капустой, возле этих самых бабок с конца апреля изредка стал появляться аккордеонист. Каждый раз он неожиданно возникал среди толчеи, на обочине людного суетливого тротуара, неподалеку от овощных палаток. В сером костюме и мягкой, мутно-белой рубашке. Чуть седеющий, с легкими волосами, в которых самозабвенно хозяйничал отчаянный замоскворецкий ветер. Очень похожий на киноактера Василия Семеновича Ланового, как показалось Антонине с первого взгляда, отчего она смущенно прикрыла кончиками пальцев рот. Но, приставившись к нему в другой раз, нескончаемым вторым, пристальным третьим взглядом, она решила: нет, не на Ланового он похож, на себя самого, на одного-единственного себя он похож. И от этого Антонина впервые в жизни отчетливо и сокрушительно почувствовала все свое тело разом: теплое, пульсирующее, полнокровное, спелое. Живое как никогда. А что он такое играет, она поначалу даже не расслышала, так была оглушена, отброшена от всего вокруг. Но потом, сделав вид, что внимательно рассматривает цветную капусту и груши в овощной палатке, кое-как вникла, вслушалась. Постукивая по кнопочкам, шурша мехами, бегая рукой по клавишам, играл седеющий аккордеонист довоенные и послевоенные вальсы и какие-то еще незнакомые Антонине песни, от которых по коже начинали снова ледяные мурашки трепета и теплые волны не то удовольствия, не то ожиданий. Мигом вспомнилось, как когда-то в детстве мать возила ее на летние каникулы в деревню, под Ростов, к бабушке. Там по соседству жил старый пасечник, у него по осени покупали мед. По вечерам он иногда устраивался на почернелой от дождей, шаткой лавочке и наигрывал на аккордеоне. В густеющих, напоенных ароматами трав и сирени сумерках тихо звучал его аккордеон. В деревенской шелестящей тишине протяжно тянулась песня. Топким умиротворением, нерушимым беспечным покоем каникул навсегда окутаны эти звуки для Антонины. Потом, зимой, старичок-пасечник умер, не болел, а просто устал от старости и покойно отошел во сне. Его аккордеон вдруг забрала себе бабка Антонины, уж с чего, на какую такую память, пойдешь разберись. С тех пор многие годы чужой аккордеон, чьи меха плотно смыкал кожаный ремешок, насупленно молчал у Антонины в кладовке, заваленный старыми книгами, отслужившими свой век сапогами, елочными игрушками в коробках из-под мармелада и другим неизбежным в любой жизни отслужившим хламом.

Поначалу, еще не признаваясь самой себе, все чаще стала измышлять Антонина разные предлоги, вроде покупки фиников, приобретения кураги, яблок, газет, почтовых конвертов, блокнота. По два раза в субботу и в воскресенье нетерпеливо бегала она к метро. Не застав аккордеониста на обычном месте, тут же грустнела, забывала, зачем шла сюда, опадала лицом, плечами, спиной, роняла мелочь и в отчаянье резко отстраняла буклетики, раздаваемые двумя шумными подростками в грозящих свалиться широченных штанах. Зато иногда, возвращаясь с работы, взбираясь на поверхность из перехода, вдруг улавливала она намеки на далекие звуки аккордеона, вмиг утрачивала усталость и оторопь, высвобождалась из обычной своей доброжелательной задумчивости. Преображалась лицом, молодела телом, вся теплела, струилась, покачивалась под сияющими разноцветными конфетти окраинных фонарей и вечерних фар. Прибавив шаг, вытанцовывала Антонина на ходу медленный вальс, белый танец. И не раз, и не два встречались они глазами. И она уже несколько раз с теплотой улыбалась ему, кивала, не скрывая, что узнает, что рада. Он же, чуть наклонив голову, чуть прикрыв веки, медленно и заботливо растягивал меха, перебегал пальцами по клави-

шам, нежно тянул свои песни в сумерках, будто освобождаясь от всего, что помнит, от всего, что чувствует, от всего, что мог бы спросить. И звенели монетки, и шелестели купюры, брошенные в картонную коробку у его ног. Бабка, которая всегда торгует до полуночи носками, поводила плечами, готовая пуститься в пляс среди овощных палаток и вечерних тревожных фигур. А какой-то нетрезвый, разудалый прохожий сбивчиво подпевал, всхлипывал и потом отчаянно опустил в коробку сидящего аккордеониста непечатую пачку папирос и бутылку пива.

В те майские дни, прислушиваясь к вальсам, рассеянно забредая в круглосуточный магазинчик, чтобы замереть у витрины и покачиваться в такт, Антонина несколько раз нечаянно перехватывала разговоры. Шептались женщины в очереди в рыбном отделе. Хихикали молоденькие, закатывая нарисованные глазищи, еще не знающие печалей. Может быть, на самом-то деле и говорили они о ком-то другом. Только Антонине все казалось, что перешептываются, перемигиваются и судачат эти женщины в сумраке уличном, эти девицы в очереди за сыром, конечно, о нем, о сидящем аккордеонисте, о ком можно еще болтать, так понизив голос, так стреляя глазами?

Прислушалась как-то раз в очереди, вот и узнала, что зовут его Николай, что приехал он из Самары, где всю жизнь проработал в заводской котельной. Приехал к дочери, она живет в двух шагах от метро, в одном из тех пятиэтажных домов. Прислушалась Антонина в другой раз, вот и узнала, что полгода назад неожиданно начал забивать Николая по ночам кашель. Совершенно не давал человеку спать. Но все равно он курил свои папиросы, даже по ночам, задыхаясь и ворча на балконе. В больнице обследовали его неделю, потом заключили: лечить бесполезно. Выдали бланк с печатью, посоветовали, чтобы, когда начнутся боли, сразу пришел подавать заявление и выписывать наркотики. И отправили Николая домой, в талые апрельские сумерки, ждать этой самой боли, от которой нельзя спастись, а можно только забыться. Тут-то его дочка к себе и позвала, чтобы отец в эти дни был рядом.

Однажды вечером, рассеянно покупая обычный набор к ужину, ревниво подслушала Антонина разговор двух продавщиц. Разузнала, что приехал Николай в Москву с двумя чемоданами: в одном привез внучке гостинцы, всякие вафли и леденцы, переправил сюда пожитки на каждый день, сколько уж ему повезет. И еще привез «смертный узел» с выходным темно-серым костюмом, в котором предполагал отправиться в свой последний путь. В другом чемодане притащил Николай в столицу бордовый аккордеон Weltmeister. Дочка, когда встретила его на вокзале, даже не обратила внимания на громоздкий серый чехол с инструментом, даже не проворчала, так ей в глаза бросилось, что очень исхудал и осунулся отец.

Сидел Николай теперь целым днями в выделенной для него маленькой комнатке, наедине со всем своим отжитым. Как хотел, так с ним и справлялся: то перетряхивал прошлые дни, то, отмахнувшись от всего, что стряслось когда-либо, слушал убаюкивающий шум подъезда, редкие скрипы лифта, выкрики со двора. Все эти звуки слагались для него в безразличную, существующую саму по себе музыку нынешнего. И он без интереса перелистывал дочкины газетки, журнальчики, смотрел телевизор без звука. И ждал, когда же объявится эта самая обещанная зловещая боль. В общем-то, много чего он уже передумал, все принял, смирился и был готов. А потом, в будний день, в пятницу, показалось Николаю, что его последняя боль уже совсем близко. Замерла на пороге квартиры, приложила ухо к входной двери, прислушивается, подбирает момент. Через миг, через два позвонит в дверь. И объявится во всей красе. Вытащил он тогда аккордеон, решил немного продуть меха, перетрясти от пыли, чтобы инструмент не зачах от молчания, от этой вынужденной немоты, которая совсем скоро станет его обычным ежедневным занятием. Надел Николай лямку на

плечо. Натянул на второе. Уселся на табурет, к подоконнику, там светлее. Прикрыл глаза, помолчал, развеялся, настроился. И побежала рука по клавишам. И заколотила другая по кнопочкам: «Холода, тревоги да степной бурьян. Погоди боль, не торопи события, дай доиграю любимую песню отца». В тот же день, ближе к вечеру, вышел впервые Николай к метро. Сел на пустой ящик возле овощных палаток. Стал играть свои песни и вальсы, один за другим, которые знал и помнил. Может быть, помогало это от пережитого укрыться, со скорым будущим свыкнуться и обрести в голове кратковременную беспечную пустоту. Но Антонина была уверена, знала наверняка: надеялся аккордеонист своими вальсами кружевными, песнями со смешинкой боль провести, затуманить ее музыкой, чтобы она заслушалась, замерла, затерялась в толпе возвращающихся домой служащих и забыла, к кому пришла. Хотя бы сегодня. Хоть еще до следующей среды. А там уж как повезет.

В тот будний день, 15 мая, по собственной прихоти, решительно и непреклонно возникла Антонина в судьбе сидящего аккордеониста. Приближаясь к метро, обиженно осознала она город Москву две тысячи такого-то года как место, по которому ходит сейчас в поисках нового своего страдальца пока ничейная, пасмурная и затуманенная вальсами боль. Подбежав к овощным палаткам, к ларьку с цветами, не заботясь о мнении окружающих, произвела Антонина неожиданное и бурное действие, а на самом деле – яркий отвлекающий маневр. Во-первых, швырнула в воздух все свои деньги, отложенные на море. Ровно двадцать пять тысяч бросила в лицо быстрому и чересчур современному этому городу, в котором лучше бы ей не объявляться и не жить вовсе. Закружились в воздухе, на все лады затрепетали над головами изумленных прохожих розовые пятисотрублевки. Так отвлекала и завораживала Антонина пока что ничейную боль. Распахнула она коробку суфле, вскрыла другую, и неожиданно вырвались оттуда белые бабочки, затрепетали над маленькой людной площадью, на фоне неба и облаков. Пока случайные прохожие и покупатели свежих овощей растерянно силились поймать летящую мимо денежку или хотя бы понять, что такое у них на глазах стряслось, подошла Антонина к сидящему аккордеонисту, крепко сжала его запястье горячей своей ладонью, осмотрела лицо взглядом, которому никто не умеет противиться. И повела за собой.

Долго бродили они в тот полдень окраинными дворами, путали следы и неторопливо беседовали вполголоса. Оказалось, он принадлежал к тому типу мужчин, которые умеют расстегивать пуговицы одними глазами, долгим выжидающим взглядом. Вот и еще одна пуговка платья вылезла из своей петли, а за ней нижняя соседка освободилась, обнажив карюю родинку на тугом тесте левой груди Антонины. Тут и там на пути у них осыпалась черемуха белым снегопадом. И вылизывали свои пушные жабо размороженные на солнце дворовые кошки. Первые аккорды их приязни пахли сыростью подъездов. Выхлопом отъезжающего такси. Рассыпанными тут и там медальонами луж. И еще густой масляной краской, которой торопливые таджикские дворники начали уже подновлять после зимы бордюры и решетки цветников во дворах. Первые аккорды их близости медленно и основательно состоялись под косыми лучами солнца, просвечивающими молодую листву насквозь. На скамейке небольшого скверика тянули они около пяти минут третий совместный поцелуй, сплетаясь языками, сплетаясь пальцами, как давно уже грезились Антонине. Молниеносными, беспорядочными, набирающими жар поцелуями осыпали они друг друга, совершенно остановив своими стараниями время и шум и из окружающей яви минут на пятнадцать напрочь вырвавшись.

В сизом сумраке подъезда, возле скорбных, потерявших замки почтовых ящиков с раскуроченными крышками, стояли они, постепенно срастаясь губами, шеями, ребрами, бедрами. Аккордеон висел у него на плече, будто плотно упакованный вальсами и белыми тан-

цами бордовый рюкзак. Впопыхах освобождаясь от платья, Антонина порвала его на боку по шву, но не расстроилась, без колебаний предполагая, что вряд ли решится надеть это платье еще когда-нибудь. Пусть будет оно висеть в шкафу, как память об этом муаровом сумраке из-за задернутых штор, о прохладном сквозняке, врывающемся в комнату, леденящем белое монументальное тело Антонины и стройную иконописную фигуру Николая. Если он похудеет еще чуть-чуть, то превратится почти что в мощи – отгоняя от себя смятение, она прикрывала глаза, когда он прятал лицо между ее щедрыми текучими грудями. И отчаянно бегала обжигающими пальцами по его шее, груди, бедрам, разыскивая по всему его телу черные и белые клавиши.

Не обедали, забыли поужинать, пили ночью наскоро чай, прямо тут, в комнате. Видели, как рассвет вливается тусклой струйкой в сумрак и беспредметность ночи. Проникали друг другу раз за разом во все уголки, во все тайники, во все впадины, раздаривая без числа обнаженных и голодных своих моллюсков слизи и жара. Лежали утром бок о бок, на сером в синюю крапинку покрывале. И она смотрела на потолок, размышляя, как далеко им удалось сбежать, оторваться от ничейной и слепой боли, снующей сейчас по городу в поисках своего адресата. На сколько часов, на сколько дней они укрылись в этой комнате, пропахшей виноградом, пастилой и испариной разгоряченных тел. А он, вдруг, будто бы разгадав ее грусть, убежденно прошептал, что аккордеонисты редко умирают. Чаще всего они уходят, отыграв все свои песни и вальсы до конца. Надев аккордеон за спину, на манер рюкзака со всей своей состоявшейся музыкой, аккордеонист разбегается в сумраке по пустынному окраинному перрону. Бежит все быстрее, от всего своего случившегося, происшедшего и несбывшегося. К самому краю, где обрывается платформа и сплетаются рельсы, теряясь в предрасветной дымке. Между тем какая-нибудь кнопка обязательно западет от бега или ветер путей и плацкартных вагонов прижмет белые клавиши тайным своим аккордом, и тогда аккордеон распахнет меха, и расправит крылья, и вознесет своего хозяина от яви и сна, далеко-далеко от всего, что было, есть и будет.

Семь долгих дней длилась их счастливая близость, семь безупречных дней Антонина и Николай жили семьей. На третий день совместной жизни празднично поужинали в честь знакомства в маленьком и пустом корейском ресторанчике, возле аптеки и ателье. Выпили по большому стакану пива. Но гулять не пошли, поплутали дворами, наблюдая возле подъездов стайки молодежи с их стучащей музыкой и выкриками. Потом еще купили винограду и поскорее уединились в квартирке. Лежали, прижавшись в кромешной тьме, в небыли, ощущая только ледышки пальцев, ненасытную дрожь и жар друг друга. На пятый день их близость стала терпкой, настоявшейся, размеренной. И чуть-чуть печальной: знала Антонина, не могла себе лгать, слагала в разуме, как через пару-тройку дней, через несколько долгих тянущихся басовыми нотами часов будет собирать она своего сидящего аккордеониста в дорогу. Заранее, наперед ощущала каждый миг этих скорых событий. Как начнет метаться по дому, принося ему из кладовки то вязаную кофту отца, то бесхозную синтетическую безрукавку, чтобы он не простудился там, на ветру. Кинется в круглосуточный магазинчик, покупать ему вафли и мандарины, в дорогу, но он ее остановит на пороге, поймает за локоть. И сейчас прижималась Антонина щекой к его острому белесому плечу, пахнущему табаком, заранее пропуская сквозь себя данность его скорого облачения в темно-серый костюм, в мягкую белую рубашку без галстука. Не хотела об этом думать, но знала, заранее видела, как там, на пустынном перроне, он наденет аккордеон за спину, будто бы туго набитый рюкзак со всей своей отыгранной музыкой. И, чтобы поскорее спугнуть эти предчувствия, беспечно и ненасытно принималась Антонина ласкать языком его мочку, проникала в шершавое, горьковатое ухо. Сжимала его коленями, впивалась ему в спину пальцами, вращала в него бедрами, ребрами, шеей, животом, лоном, стопами. А потом всхлипы душила в себе,

отвернувшись к стене, таила от него в крошечной тьме, что она уже предчувствует, знает заранее каждый его шаг к краю, там, на безлюдном перроне. Но, проглотив ком отчаянья, сладким шепотом спрашивала, не налить ли ему чаю в полшестого утра, на шестой, предпоследний день их близости.

Этот пустынный перрон второго пути находился на 52-м километре. Они ехали туда на одной из последних электричек. Антонина положила голову на плечо своему аккордеонисту, сделала вид, что спит. На самом же деле про себя она суетилась, горевала, тревожилась: что же это он не попрощался с дочерью. Даже не позвонил, не соврал, что уезжает домой, как было решено накануне. И не притронулся к жареной картошке. Не допил чай. Не присел на дорожку. Кажется, забыл в коридоре наручные часы. Цеплялась Антонина за прожитый день, все казалось ей, что он еще тянется до сих пор, все еще здесь, с ними, в тусклом вагоне загородной электрички. А Николай смотрел в окно, тут же забывая проносящийся мимо сумрак с мельтешением огоньков освещенных окон и фар. Без интереса листал забытую кем-то газетку с объявлениями. И молчал всю дорогу.

На перроне в темноте безлюдной, леденящей целовал ее в обе щеки и обстоятельно, горячо – в лоб. Антонина отворачивалась, прятала лицо в ладонях, чтобы не видеть, как он будет удаляться, как он побежит к самому краю со своим аккордеоном за спиной. Но он останавливался на полпути, хватался за фонарный столб, выкуривал папиросу, снова понуро возвращался к ней. Еще раз обнимал, теплую, трепещущую, за плечи. Прикасался губами к россыпи родинок на ее шее. Пересчитывал поцелуями: один, два, три, пять.

Когда настала его третья попытка, она снова отвернулась. Прикрыла лицо ладонью. Вся напряглась, натянулась, превратилась в слух. Но уже ждала, обязательно ждала, что он опять вернется ее обнять. Ждала, а сама слышала отдаляющиеся шаги, сбивчивый кашель, его бег, хруст его подошв о песок перрона. Отдаляющиеся шаги. Ветер, растрепавший ей волосы. Хруст. И тишина. И еще тишина. Гудок скорого поезда где-то вдали. И снова опять тишина.

Все понимала Антонина, но окончательно принять не умела. Больше вопросов у нее не было, все она теперь про свою жизнь знала наверняка. Знала, что это она сама, только она одна и была его последней болью, той самой, которую так мучительно оставил он за спиной, на ветру плацкартном, в были и снах. И еще отчетливо помнила Антонина, что у нее в кладовке прямо сейчас, средихлама старых сапог, отживших плащей, коробок с елочными лампочками, лыжных палок, папок и кофт, молчит в чинном синем чемодане уже сколько лет сиротливый аккордеон старичка-пасечника. И утешилась Антонина на всю остальную жизнь, что в случае чего, если уж совсем соскучится сердце, можно будет всегда прийти сюда. На пустынный перрон второго пути окраинной станции 52 километр. Вдохнуть поглубже, съесть на дорожку две мармеладины или зефир. И побежать по перрону, и понестись с аккордеоном за спиной, вдогонку за своим Николаем, далеко-далеко от всего, что было, что есть и что будет. Может быть, ветер плацкартов все-таки сжалится над ней, дунет со всей силы, возьмет ледяными своими пальцами тайный аккорд из белых и черных клавиш. И аккордеоновые крылья распахнутся.

Тихая Сапа

Почему в агентстве ее прозвали «Тихая Сапа»? Каждое утро, поджав бесцветные губки, ничем не выдавая себя, она тенью крадется по коридору. Обманув певучую дверь, беззвучно проникает в комнату, прячет в шкаф серенькое пальтецо и бочком пробирается на свое место, к окну.

Год назад, когда Тихая Сапа появилась в агентстве, в медлительные утренние часы, спрятавшись за компьютер и бумаги, Артем украдкой наблюдал за ней. Раньше напротив него, на месте этой бесцветной и неподвижной новенькой, пылко трудилась неумолимая копирайтер Лиза. Наблюдать за Лизой было одно удовольствие. С ее появлением в агентстве коллеги каждый день вознаграждались бесплатным представлением под названием: «Лиза, перспективный сотрудник, пашет за троих». Приблизительно раз в месяц непоседливая Лиза меняла цвет волос и прически, становясь то пепельной блондинкой, то рыжей кудряшкой, то брюнеткой со строгим каре. Перед монитором Лиза устраивала непрекращающееся шоу многозначительных гримасок, деловитых ухмылок, разнокалиберных смешков. Она извлекала из цветастой сумки пудреницу «Chanel» или инкрустированный портсигар, надевала темные очки-стрекозы, рассыпала по полу пастилки в виде розовых и голубых медвежат, замечала стрелку на бордовых колготках, скидывала сабо, фотографировала кружку, натягивала бирюзовые ботфорты из кожи питона, хрипло нашептывала что-то в третий за этот год iPhone. Но вскоре шумная Лиза вышла замуж и укатила в Европу, где у ее супруга как будто был антикварный магазинчик. Прерывая работу, Артем теперь скучал, бездумно медитировал в окно на угол соседнего серого здания и с нетерпением следил, не появится ли в руках у Тихой Сапы что-нибудь неожиданное и занятное.

Оглядывая ее с ног до головы, он надеялся, что Тихая Сапа скоро акклиматизируется в агентстве, оживет, облагнет и удивит всех какой-нибудь поблекшей бабушкиной брошкой или новой прической. Но Тихая Сапа ничем не радовала Артема, не скрашивала своим видом его полуденные часы, не дарила повода для разговоров за обедом. А только нагоняла зевоту и сгущала тягучую тоску учреждения, комнаты, кабинеты и коридоры которого затянуты в пластик невыразительных и не раздражающих сознание оттенков. Сутулясь, Тихая Сапа замирала у окна, впадала в задумчивость или изображала сосредоточенную и неторопливую деятельность, на самом же деле оттягивая время и дожидаясь обеда. Издали и вблизи она была похожа на трафарет, вырезанный из серого картона. Ее бесцветные волосы, зачесанные назад и затянутые резинкой в тугий хвост, день ото дня все сильнее нагоняли на сослуживцев уныние.

Яркое зимнее солнце января превращало любую ледышку в алмаз. Ясное небо без единого облачка подавало надежды на отпуск, а Тихая Сапа была неизменно облачена в серое. Серые кофточки, юбки цвета пепла или серенькие брюки, прекрасно скрывающие все особенности фигуры. Нечто серое неторопливо сновало мимо Артема с сутулой спиной, на ходу неумело смахивая что-нибудь со стола – неплохая проверка стойкости настроения и оптимизма. Скоро Артем решил, что цвет гардероба Сапы как нельзя лучше подходит к ее блеклому, мгновенно забывающемуся лицу.

К концу ее испытательного срока Артем стал терять терпение: ну, не хочешь рассказывать о себе, так хоть для приличия удели внимание сослуживцам. Но Сапа продолжала неслышно отвечать на вопросы, тенью пробиралась за рабочий стол, весь день сидела, неподвижно уткнувшись в монитор, и лишь легонько кивала головой на прощание.

Как-то раз в курилке, которая располагалась на площадке третьего этажа, Артем узнал, что многие в конторе испытывали нечто подобное: несколько недель они присматривались к

Сапе, тщетно ждали от нее знаков внимания, делали попытки завязать разговор, но, оскорбленные робостью и молчанием, махнули рукой, постарались не замечать и почти забыли о ее существовании. Так и проработала Тихая Сапа почти целый год в агентстве, не привлекая внимания, одарив каждого сослуживца от силы десятком сухих сдержанных слов.

В один из тяжких предновогодних дней, когда не очень-то вникаешь во все, что творится вокруг, ближе к вечеру в агентстве настойчиво дребезжал телефон. Звонок тонул в гуле офиса, но все были так заняты, что и горная лавина прошла бы незамеченной. Наконец, не выдержав, ответила координатор спецпроектов Наденька. В трубке звучал мягкий и ласковый мужской голос, от которого веет маленькими ночными ресторанчиками. Вот почему Наденька так хлопала ресницами и старательно поправляла прическу.

– Кого позвать? Извините, скорее всего вы ошиблись, у нас таких нет, – как же бархатно она мурлыкала, вкладывая в интонацию все свое обаяние и даже более чем, – да, номер наш, но Вероника здесь не работает.

– Это, наверное, меня, – неожиданно прошелестело рядом. Тихая Сапа, молчаливый серый трафарет, неслышно возникла и подхватила трубку, готовую выпасть из рук удивленной Наденьки.

Забившись в уголок, Сапа изредка кивала головой в трубку. Пожалев, что отвлекся, Артем уставился в монитор, стараясь настроиться на работу. И тут вдруг Тихая Сапа из своего угла громко и внятно произнесла во всеуслышание следующее:

– Тогда встретимся завтра, – Артем даже закашлялся от неожиданности, он и не думал, что серая Сапа может так бойко и громко говорить, – на Чистых Прудах, у памятника... я буду ждать. Значит, в половине восьмого. До завтра. – Оказалось, на эту оживленную и радостную речь обернулся не только он. Многие, оторвав головы от ноутбуков и мониторов, с удивлением посматривали на Тихую Сапу, неожиданно вспомнили о ее существовании в агентстве и на земле. Никого не замечая, она аккуратно положила трубку и скользнула на свое место, к окну. Весь остаток дня, часто отрываясь от документов, она блуждала взглядом над головами сослуживцев и беззаботно улыбалась своим мыслям. На ее блеклом сером лице неожиданно проявились глаза. Они возникли внезапно, словно кто-то незаметно пририсовал их на сером трафарете лица – мечтательно распахнутыми, сверкающими на солнце, сероголубыми, будто освободившаяся ото льда речная вода.

На следующий день Артем попал в вялую пробку на Ленинском проспекте и опоздал в офис на полтора часа. Пристраивая плащ в шкаф, он нечаянно наткнулся на вешалку с сереньким пальто Сапы. Оно оказалось кашемировым и мягким на ощупь, словно шерсть ухоженной персидской кошки. Заранее приготовившись быть снисходительным, он украдкой заглянул на ярлык. Густыми черными ресницами ему подмигнула надпись «*Comme des garçons*», да так неожиданно, что Артем вздрогнул. И как-то даже смутился. И как-то слегка оторопел. Мы же вроде бы цивилизованные люди, взрослые, не без фантазии, начитанные, частенько наезжающие в Европу. И тут вдруг с каким-то злорадным восторгом разглядывать ярлыки сослуживцев. Недовольный, Артем весь день чувствовал себя не в своей тарелке, изо всех сил стараясь забыться работой.

И Сапа тоже целый день самозабвенно вникала в бумаги, но все же иногда ее лучистый взгляд кружил под потолком, а на лице играла вчерашняя безмятежная улыбка. Словно увидев Сапу впервые, Артем подумал, что не такая уж она и безлика – довольно симпатичная девушка, просто предпочитает неброский, естественный макияж.

Оказалось, о существовании Тихой Сапы вспомнил не только он. Целый день по офису расплзался оживленный, пропитанный не то кардамоном, не то паприкой шепоток. Налив

кофе, каждый норовил как бы случайно пройти мимо окна, с любопытством присматриваясь к Сапе.

– Ты бы брови подправила, тебе пойдет, глаза чтобы выразить еще сильнее. Если нужно, дам телефон своего мастера, – простодушно, на весь офис предложила бухгалтер Елена Николаевна, заставив Тихую Сапу вспыхнуть и робко притаиться за монитором.

Ближе к вечеру, чуть раньше обычного, Сапа стала потихоньку собираться. Беззвучно порхая над столом, она укладывала бумаги в аккуратные стопочки. Никогда до этого Артем не замечал, как бережно она водит по волосам маленькой деревянной щеткой, а потом неторопливо заплетает косичку.

– Чего-то ты сегодня так рано нас покидаешь, – заметила Елена Николаевна и подмигнула Наденьке.

– Ой, Вероника, а ты не удержишься, мне может понадобится твоя помощь? – подхватила Наденька.

Тогда Сапа нерешительно остановилась, уронила сумочку на стол. Стояла, перебирая ремешок, не решаясь заговорить. Она замерла, словно надеялась снова стать незаметной или дожидалась, когда о ней, как всегда, все забудут. Потом, поправив часы на руке, она как бы украдкой все же двинулась к выходу. Надевая пальто, Тихая Сапа неловко оправдывалась, обращаясь ко всем сразу и ни к кому конкретно, что ей сегодня обязательно надо уйти пораньше. Обязательно надо успеть к половине восьмого на Чистые Пруды. Бормоча сбивчивые оправдания, она жалобно поглядывала на сослуживцев, выискивая, кто же ее поддержит, кто же ее наконец отпустит. Вдруг в ее руке вспыхнула косынка из вишневого шифона. Легонько подкинута, тонкая и невесомая косынка проплыла по воздуху, легла на шею Тихой Сапы и запылала на сером воротнике ее пальто. И тогда сослуживцы, замороженные этой неожиданностью цвета и невесомости, без лишних слов отпустили Веронику по ее срочным делам.

С того дня ничего вроде бы не изменилось. Сапа так же неслышно проникала в офис и замирала на своем месте, у окна. Она выглядела спокойной и счастливой, но Артем понять не мог: с чего это он раньше взял, что у нее серое лицо? Конечно, бледное, полупрозрачное, но довольно свеженькое и без единой морщинки. «Она, наверное, кубиками льда умывается», – каждый раз почему-то думал он и придирчиво посматривал в зеркало на свои щеки с трехдневной щетиной. Он как-то неохотно ожидал, что после того свидания Тихая Сапа засияет и проявится каким-нибудь ярким цветом, но она по-прежнему была верна своему серому, и в этом даже был какой-то особый шарм. «А серый брючный костюм ей даже очень идет», – однажды вечером машинально и неожиданно подумал Артем.

– Между прочим, у нее неплохая фигура, – заметил он Павлику за сигаретой.

– И не только фигура, – сухо отчеканил Павлик.

Артем заметил их вместе как-то на днях, за обедом. Они сидели лицом друг к другу, в сторонке от всех, и тихо разговаривали.

– Ой, шутишь, – фыркнула Наденька, – наш Павлик со всеми обаятельный, он умный и серое – не в его вкусе.

Наденька наверняка была права, но только вот почему по вечерам, заводя машину, Артем теперь почти каждый день пристально наблюдал, как Сапа и Павлик вместе идут к метро. И потом еще некоторое время он сидел в тишине, всматриваясь в пустынные дворы окрестных пятиэтажек, отчего-то слегка приуныв и даже за что-то злясь на себя.

Как-то вечером, когда Сапа уже вышла, а Павлик замешкался у своего стола, Наденька подошла и сразу перешла в наступление:

– Ты осунулся, надо больше отдыхать, – громко всхлипнула она.

– Спасибо за заботу, – усмехнулся Павлик, спеша поскорее уйти. Преградив ему дорогу, с другого бока на стул опустилась бухгалтер Елена Николаевна и заговорщически произнесла:

– И все-таки, с кем встречалась наша Тихая Сапа две недели назад на Чистых Прудах? – и они внимательно посмотрели на Павлика, который должен был почувствовать себя словно подопытный кролик. Но он, ничуть не смутившись, почти шепотом спросил:

– И вы до сих пор не знаете этой истории? – Коллеги сомкнулись в тесный кружок, склонили головы, чтобы ничего не упустить. – Вероника впервые в жизни купила iPhone и тут же забыла его в такси. Водитель позвонил ей через несколько дней. Он долго оправдывался и извинялся, что был занят. С ним-то она и встречалась на Чистых прудах. Он вернул ей пропажу. Вернул совсем новый iPhone, представляете...

Через пару дней Артем допоздна задержался в офисе. С трудом оторвавшись от ноутбука, налил себе кофе, подошел к окну и долго смотрел на угол серого здания и на свою одинокую машину в разросшейся за день снежной фуражке. Потом его взгляд снова начал обследовать стол Сапы. Аккуратные стопочки папок и бумаг. Кружка, брелок, точилка для карандаша в форме яблока. Как всегда – порядок и строгость. Как всегда, ничего, что могло бы нечаянно раскрыть привычки, маленькие слабости или тайные пристрастия этой невыразительной или все же неотразимой девушки в сером.

Артем подошел к столу Тихой Сапы и аккуратно выдвинул один за другим боковые ящики. В верхнем оказались бумаги. Документы и какие-то бланки. В среднем были наушники, пачка крекеров и та самая маленькая деревянная щетка для волос. Нижний ящик пока пустовал. Артем еще раз, придирчиво, как частный детектив, осмотрел стол Сапы. Рядом с монитором лежал снова забытый по рассеянности новенький iPhone. Он был в строгом чехольчике из мягкой серой замши. Артем подкинул iPhone в руке. Ему почему-то вспомнилось, как когда-то его родители старательно искали и долго выбирали диван и кресла, рассчитывая провести в их окружении всю свою жизнь, до глубокой старости. Он вспомнил, как раньше «справляли пальто» на многие годы. И дарили жене шубу, рассчитывая, что подарок прослужит лет семь-восемь, как раз до пенсии. Перед его глазами сами собой пронеслись каруселью все эти кухонные гарнитуры, полочки в ванной, пледы, пуфики и журнальные столики, которые когда-то покупали на всю жизнь. Однажды, давным-давно, не было этой заразной и повсеместной небрежности, вещи принято было беречь в надежде, что они послужат еще и детям. Артему вдруг тоже захотелось, чтобы в его жизни возникло нечто такое: долговечное, крепкое, на многие годы. Он задумался об этом впервые. Именно сейчас, в пустынном вечернем офисе, сжав в руке iPhone Сапы, заключенный в серый замшевый чехольчик. Он понял, что теперь наконец готов, чтобы у него в жизни появилось хоть что-нибудь основательное и постоянное.

Любопытство одержало верх, смущение и стыд были отброшены куда подальше. И вот он уже невозмутимо листал набор программки Сапиного iPhone'a. Без тени смущения, безо всякого трепета, как будто его работа – заглядывать в чужую жизнь. Список ее личных контактов был пуст, словно замер в ожидании. Единственное, что ему удалось обнаружить, – это имя «Вероника», телефонный номер офиса и еще ее домашний телефон. Не особенно раздумывая, полностью предоставив себя моменту, околдованный долговечными родительскими диванами и так необходимым ему теперь постоянством, Артем набрал домашний Сапы. Он был уверен, что сегодня настал его вечер. Он уже заранее видел перед глазами заснеженный Чистопрудный бульвар. Видел себя и ее в каком-нибудь маленьком кафе возле Покровки.

Он знал наизусть все слова, которые скажет. Он был в них уверен. Прямо перед ним в даль вечернего окна и уходящей чуть в горочку невзрачной улочки разворачивалась так необходимая ему теперь определенность, ясность и основательность. На многие-многие годы. Ожидая Сапиного ответа, он засунул руку в карман, сдержал зевот, осмотрел двор и тихонько, очень доверительно шепнул, как будто они уже лет пять вместе:

– Привет, Вероника. Это Артем. Ты снова забыла iPhone, на этот раз в офисе, на своем столе. Ты его специально, что ли, забываешь? Испытываешь окружающих? Знаешь, я подумал, что это отличный предлог, чтобы мы с тобой встретились сегодня где-нибудь на свободе. Попьем кофе. Давай, я тебя подберу минут через сорок возле Тургеневской?

Он знал, что Тихая Сапа обрадуется, но не подаст виду. Он был уверен, что она согласится и уже совсем скоро прилетит к нему через морозный город и снегопад в своем легоньком и летящем сером пальто, так похожая на невесомую бабочку или на невзрачного мотылька. Он мог бы пересказать все ее слова этого вечера. Знал наизусть, какие будут улыбки. Он отлично знал, где и когда возьмет ее за руку. И уже чувствовал умиротворяющее молочное тепло ее шеи, которую поцелует под взметнувшимся от земли до неба голубым снегопадом.

Теперь он затаился в спокойствии, в долгожданном равновесии, приготовившись кивать и получать подтверждения всему тому, что знает про сегодняшний вечер и про многие годы своей жизни. Но Тихая Сапа помолчала. Потом она мягко и сбивчиво шепнула: «Ничего страшного, не утруждайся. Оставь телефон на столе, где он и лежал».

Она совсем тихо добавила: «Спасибо. До завтра, Артем». И завершила разговор. В iPhone, в пустынных комнатах и коридорах офиса снова царила неопределенная, ничего не обещающая тишина. И Артем некоторое время зачарованно вслушивался в однообразные, торопливые, всхлипывающие гудки своего несостоявшегося будущего.

Сказка о слабости

1

Он крепко держал Вету за запястье. До боли вцепился в тоненькую, почти прозрачную руку. Иногда сжимал так сильно, что ее ладонь немела и пальцы казались почти стеклянными.

Наручных часов Вета никогда не носила. Однажды он этим воспользовался – крепко схватил ее запястье в давке утреннего вагона, набитого до ржавого скрипа сонными и начесанными, а еще напудренными, наглаженными, надушенными людьми. Все это разнообразие сливалось в одно настороженное утреннее лицо, несущееся с окраины в центр. Он держал ее за запястье в сумеречном вестибюле грязного здания из тусклого алюминия и пыльного стекла. Не выпускал руку, а намеренно сильнее сжимал в комнатке-подсобке, где пили чай и строго запрещалось курить.

Иногда его хватка чуть слабела, ощущалась костяным браслетом, который норовил съехать, перетянув и до боли прижав друг к другу лучики пястных косточек, ломких и шуршащих, как весенние камыши. Иногда его хватка мерещилась широким золотым наручником, который чуть мал и душит руку, будто тоненькую и беззащитную шею котенка. Порой она чувствовала его пальцы. Это было не угадывание, нет. Она подробно чувствовала узловатые, ледяные пальцы. Каждый в отдельности упрямо врастал ей в запястье, будто привитая веточка или еще хуже – хищная омела, которая медленно становилась частью слабеющего дерева. Иногда его рука, сжимающая запястье, становилась такой жгучей и настойчивой, что Вета начинала задыхаться.

Стоило ей заболтаться по телефону с троюродной сестрой, сипло расхохотаться со встреченными в коридоре курьерами, засмотреться на крыши сквозь сизую вуаль сигаретного дыма, он сразу же чувствовал: отвлеклась. Живет себе дальше, будто ничего особенного не случилось. Именно в такие моменты он неожиданно дергал ее за руку. А иногда резко и грубо тащил куда-то вбок. Как всегда – чуточку издевался, вышибал дух, по крупинке выколачивал силы. Ему и раньше разными ухищрениями и уловками нравилось неожиданно сбивать Вету с настроения, надламывать ее воодушевление, гасить восторг. Будто выставляя умело просчитанную подножку. Слегка припугивать. Расстраивать. Тормозить. Теперь от его неожиданных подергиваний Вете становилось невмоготу. После каждого такого рывка она несколько минут ничего не соображала. Чувствовала себя сломанной куклой. Вмиг теряла все защитные шуточки, маленькие оборонительные хитрости. И признавала, что очутилась в маленьком незаслуженном истязании. В тихом аду, из которого никак не могла выбраться.

В первые дни, когда его рука обосновалась на ее запястье, Вета старалась не замечать. Тактично. Сдержанно. С вежливостью воспитанного человека, получившего хорошее образование: английская спецшкола, музыкальная школа по классу фортепиано и флейты, филологический факультет университета, курсы французского и испанского, аспирантура, впрочем не увенчавшаяся диссертацией по романам викторианской Англии. Она старалась быть выше этой необъяснимой главы, ненужного послесловия. Ждала, что он образумится и прекратит. Не сердилась. Жила как обычно. Книга возле дивана. Кисловатый утренний кофе вперемешку с низкими облаками, светящимися окнами дома напротив и ржавчиной крыш.

Чуть ускоренные, суетливо-озадаченные шажки к метро. Серый сумрак закоулков и подземных тупиков, контрастирующий с сахарно-розовой сверкающей пудрой на лицах подземных девушек. Теплая, уютная шерсть пальто и шарфа, в которых приятно тонуть. Мягкое трикотажное платье приглушенно-интеллигентной расцветки. Неброская помада. Войлочная роза заколки. Долгий безостановочный бег по коридорам и этажам утомляюще-пыльного, окуренного дымами здания, напоминавшего неживой макет или забытый конструктор. Быть сосредоточенной и бодрой. Отвечать на письма, просматривать электронную почту. Курить с начальницей на лестничной клетке, воодушевленно кивая на рассказ о поездке на озеро. Сипло хохотать с девушками из фирмы этажом ниже. Но потом, ближе к вечеру, Вета снова чувствовала стягивающий бинт на запястье. Еле-еле разминала пальцы. И ничего не помогало: ни сдержанность, ни попытки казаться веселой, ни затаенная надежда, что он сам все прекратит.

Однажды вечером, пытаясь перебить лихорадку подступающей ангины, через силу заглатывая ромашковый чай, Вета сломалась. Пробиваемая ознобом, с испариной на лбу, признала: это серьезно. И, кажется, надолго. Так оно и было: он безжалостно держал ее за запястье во время трехнедельной ангины. Чуть заметно дергал за руку, когда к Вете приходила врачиха с мокрыми волосами – из районной поликлиники, а три дня спустя – старательный пожилой доктор, по страховке. Лучше не стало. Слабость с каждым днем усиливалась. Пришлось выйти на работу, не долечившись. Теперь по утрам сил едва хватало, чтобы добрести от дома до метро. А там, если повезет, упасть на свободное место, на коричневый дермати́н сиденья. Или повиснуть, ухватившись за поручень, и пятнадцать минут дремать среди шума и шелеста утреннего вагона. Но он все равно держал ее за запястье. И дергал – неожиданно, без причины. От этого становилось обидно и хотелось расплакаться, как в детстве, когда подруги из подъезда ни с того ни с сего объявляли бойкот.

Шиповниковый чай. Кроваво-кислый гранатовый сок. Грейпфрутовые велосипедные кольца. В эти дни Вета плакала во сне. А еще, кажется, она завывала под утро. Как брошенная собака – от своего нарастающего бессилия. Несколько раз снилось, что умирает. Точнее, в приступе серой обволакивающей слабости во сне проваливалась куда-то глубже, в топкое болотистое забвение. Щемящее, вытягивающее дух без остатка.

Потом наступила суббота. Проснувшись в полдень, Вета возмутилась. Ее колотило от гневного озноба и слез. Сил не было. Она признала себя привидением, показалась себе опустошеннобелой изнутри и снаружи. Без щербинок, без смешинок, без обычных ямочек на щеках. От горького прозрения она пришла в ярость. Взорвалась. И следующие несколько дней пыталась освободиться. Замирала возле окна. Смотрела вдаль. Почти не двигалась. Улучала момент, потом изо всех сил выдергивала руку. Выворачивалась. Извивалась. Но он держал крепко и сосредоточенно, не отвлекаясь, не позволял себя одурачить. После безуспешных и жалких попыток сопротивления он стал дергать еще чаще. Изо всех сил тянул куда-то по вечерней улице. Так упрямо и жестоко, что приходилось почти бежать, чтобы не упасть, чтобы не оступиться. Подтягивал к витрине магазина музыкальных инструментов. Чтобы она стояла минут пятнадцать, прижав лицо к ледяному стеклу, сквозь слезы рассматривала скрипки и гитары, напоминавшие ей полые ссохшиеся тыквы. Иногда он заставлял остановиться посередине платформы метро. Не давал идти дальше. Чтобы она как будто кого-то ждала. Пять минут. Десять минут. Наблюдая снующих мимо людей. Ждала сама не зная кого посреди пыльной, пропитанной усталостью платформы. С онемевшей от боли рукой и сдавленным криком отчаянья, слезно распухавшим в горле.

2

В детстве, чтобы как-нибудь пережить развод родителей, Вета придумала себе, что бывают особые печальные люди. Внутри у них таится пропасть отчаянья, бездонный и необратимый обрыв. Где появляется такой человек, там всегда впоследствии происходит разобщение, случается развод. Как будто невидимая разъединяющая сила, неизбежная роковая трещина теплится внутри человека, а потом прорывается, пробивается наружу в самых неожиданных ситуациях. Случайно разлучая, разводя, разъединяя ни в чем не повинных людей, которые оказались рядом. Такой человек-трещина однажды встретился родителям, считала Вета в детстве. И через некоторое время они развелись. Кто это был, Вета точно не знала. Вспоминая детство, она строила самые неожиданные догадки. Она была уверена: люди-трещины чаще всего не подозревают, что несут в себе необратимое разъединение. В каждодневном существовании они могут быть неприметными соседями, тихими друзьями, участливыми знакомыми. Чаще всего они никак не воздействуют, не вмешиваются, не вторгаются в жизнь своих случайных жертв: ни поступками, ни словами. Это совсем не то, что коварные разлучницы или двуликие разрушители сердец. Человеку-трещине достаточно возникнуть в комнате, появиться в вестибюле, медленно зайти в столовую. Он возникает где-нибудь рядом, бежит-суетится по своим будничным делам, даже не подозревая, что одним своим нечаянным присутствием обозначает чей-то неизбежный разрыв.

Как-то раз, подытожив многолетние наблюдения, Вета заподозрила, что ее подруга Тамара – одна из таких. Тоненькая и почти прозрачная, затаившая внутри разлом вселенской меланхолии, Тамара всегда с каким-то сверхъестественным упорством грустила. Старательно опасалась. Отчаянно подозревала. Гибла и скорбела. От искренней взволнованности у Тамары чуть кисло, резковато пахло изо рта. И были ледяные, влажные руки, что вполне допустимо для первокурсницы, но несколько странно для девушки под тридцать. Поэтому в любовных делах Тамары царил хаос и запустение. Ее печаль расцветала с годами. Везде, где Тамара возникала, впоследствии случались маленькие незаметные расставания, неожиданные разлучения, необъяснимые разводы. Иногда Тамаре стоило появиться в комнате, и вот уже через несколько дней две старые приятельницы окончательно и бесповоротно рассорились, разругались и с чисто женским упрямством принялись настраивать друг против друга общих знакомых. Тамара никоим образом не участвовала в этой истории. Ничего не произнесла. Не хмыкнула. И даже не пожалала плечами. Она только была там некоторое время. Стояла и встревоженно смотрела в окно, привалившись к дверному косяку. Она никогда не была разлучницей. Для этого в ней было слишком много внутренней неустойчивости, прозрачности и пустоты. Задумчивая девушка, которой никогда не суждено было превратиться в зрелую женщину, в старушку. Девушка-трещина, со стороны похожая на мутного ангела, который сам до конца не осознает своего предназначения. Заподозрив Тамару, Вета несколько лет с интересом отслеживала необъяснимую способность подруги знаменовать собой расставания и разрывы. Вета с азартом естествоиспытателя наблюдала короткие стремительные пьески разлук. Как если бы она была ученым, изучающим тайные силы, непостижимым образом проявляющиеся через нас. Как если бы она исследовала размытых окраинных ангелов. Кто знает, может быть, во «Всемирной энциклопедии ангелов», изданной в Бристоле в 1886 году и не переизданной с тех пор ни разу, такой ангел значится под номером 38, имеет развернутое название «Ангел Разлучения и Развода» и отнесен классификатором Джонсоном к отряду ангелов-карателей, а более поздним классификатором О'Нилом – к отряду избавляющих и проясняющих ангелов.

Так или иначе, Вета была уверена: благодаря чувству юмора и слегка отстраненной любознательности, ее саму конечно же обойдет неосознанно воплощаемый Тамарой в жизнь закон всеобщего разобщения. Ведь они дружат с первого курса. Ездили вдвоем в турпоходы, во всякие санатории. Мотались на курорты Турции и Мальты. Только вот однажды Тамара неожиданно позвонила рано утром. Предупредила, что уезжает на лето к сестре под Выборг. Спросила, не сможет ли Вета раз в неделю поливать орхидеи и приглядывать за ее квартирой. Обычный, малопримечательный разговор давних подруг. Но в то утро Вета потеряла бдительность. На несколько мгновений перестала быть исследователем и наблюдателем. Обмельчала, истощилась до кивающей в трубку подружки в домашнем спортивном костюме. Через несколько дней трещина проявилась. А с Тамарой они потом как-то незаметно, беззлобно потерялись.

В день трещины Вета и Алек гуляли по набережной. Не держались за руки, потому что Алек на каждом шагу останавливался, прицеливался и вылавливал из пространства идеальный кадр. Охотился на красоту, вырезая кусочки города. Стрелка Васильевского острова в тоненькой сигаретной вуальке. Дрожащий на воде штопальный шпиль Петропавловки. Завораживающе-тяжелое течение смолистой, ледяной воды. Цокающая мимо сюрреалистично-игрушечная карета с ряженным в синтетику кучером Екатерининских времен. Потом он засмотрелся вдаль набережной, где с моста разноцветными горошинами высыпались машинки. А потом ловил что-то сквозь сине-розовый капрон облаков. Он машинально протянул Вете фотоаппарат, держа его за нашейный ремень с надписью Nikon. Так происходило тысячу раз. Тысячу раз он, рассматривая что-то вдали, протягивал Вете фотоаппарат, висевший на ремне покладистым домашним любимцем. Вета почти перехватила, почти почувствовала чуть заledenелой ладошкой шершавый «поводок» фотоаппарата. В этот момент Алек разжал пальцы. Был где-то далеко, наблюдал за кардиограммой крыш, царапающих горизонт. Фотоаппарат со всей силы шлепнулся на усталый запыленный асфальт. Издал стеклом объектива скорбный звук разбиваемого о краешек сковороды яйца. Алек чертыхнулся. Сморщился, будто от сильной боли. На стекле объектива теперь вовсю залегала широкая ветвистая трещина. Она разделяла все последующие кадры наискось, серой туманной линией. Возможно, трещина давно таилась между ними. Возможно, на самом деле в тот день они уже стояли по разные стороны разлома, не подозревая, что это только «как будто вдвоем», но на деле уже слегка по отдельности. Вета покачала головой. Без фотоаппарата стало одиноко и как-то бесцельно целый день бродить по городу. Алек постарался не упрекать ее за неторопливую оплошность руки. В эту минуту он как никогда ощутил себя неудачником в испорченном дне, в ветреном городе. Тут еще резко похолодало, словно в лето вломилась старуха-осень с перепутанными седыми волосами, в мокрой вязаной безрукавке, со стекающими с рукавов струями ледяного ливня. Они до вечера бродили по набережным, площадям, мостам и проулкам, будто потеряв что-то в городе, но не в силах вспомнить, что именно следует искать. Весь день Вета пыталась сбить его с незнакомой, неприветливой ноты. С дождливого настроения. С горьких усмешек. Ее напускная веселость была натужной и неуместной. Вечером по пути домой она сломала каблук коричневых полуботинок. До самого отъезда пришлось бродить по городу и ездить в Петергоф в жестких, жмущих кроссовках младшей сестры Алека. Которая никогда не относилась к Вете серьезно, считая ее промежуточной и неважной.

В тот последний день в Петербурге они стояли перед светофором на пешеходном переходе. Горел красный. Машин не было. В тот день они спешили – нужно было успеть в железнодорожную кассу. Вета дернулась, ей хотелось поскорее перебежать пустую дорогу. К этому моменту трещина уже отчетливо существовала между ними. Алек ощущал присут-

ствие разлома, кисловатый дух разобщения. За долгие бесцельные дни гуляний по городу в нем зрел протестный порыв, скрытое дрожжевое неприятие всего, что делала Вета. В тот день ему уже основательно не нравилось, как она сипло смеется в сиреневый марлевый платок. Он не понимал, зачем она так надменно откидывает с лица волосы. А эти ее старые мотоциклетные перчатки без пальцев всегда приводили его в тихое бешенство. Вета рванулась через дорогу, и Алек схватил ее за запястье. Настойчиво, резко отдернул с пустого шоссе назад, на тротуар. Не заботливо. Не предупредительным или участливым родительским жестом. На самом деле в это мгновение, в этот день ему хотелось как-нибудь безжалостно вытряхнуть, вырвать Вету из самой себя. Будто ветку сирени. Чтобы все ее цветочки осыпались на землю. Он отдернул ее с блеклой полоски пешеходного перехода. И потом еще долго говорил, говорил, выговаривал. Такое колкое, что Вета не поняла ни слова, от неожиданности совсем оглохла. И он крепко держал ее за запястье. С силой разобщения, разъединения, разлома, которая вырвалась из своего потаенного логова и теперь вовсю действовала между ними.

3

В день первого снега Вета прозрачным бескровным призраком еле доплелась от метро домой. Зима не принесла белого хрустального облегчения, лишь усилила слабость и нагнала тоску. Как будто тяжесть неба, тяжесть последних дней года проникли внутрь громоздкой тишиной и усталостью.

Приближаясь к дому, пересекая сквер по тропинке мимо черных заиндевевших стволов, Вета теперь особенно внимательно высматривала, не сидит ли у подъезда грозная бабка с костылями. Вета теперь опасалась, что эта бабка окончательно выпотрошит ее. Отнимет последнее, до крупинки. И тогда все будет растрчено окончательно. Некому будет вернуться домой. Некому будет, не сняв пальто и забрызганные грязью полусапожки, упасть в кресло. И неподвижно смотреть в окно в маленьком тесном аду нарастающей слабости.

Опасения Веты были неслучайны. Обычно ближе к полудню, при помощи соседей и оказавшихся поблизости людей, тяжело переваливаясь, охая и громко сетуя на жизнь, грузная бабка с костылями спускалась на лифте с шестого этажа. Кое-как выбравшись из подъезда, старуха преодолевала четыре ступеньки крыльца. Остановившись, она сварливо командовала помощникам: «Погодите, сердце выскакивает. Дайте отдышусь!» Переводя дух, бабка за секунду-другую успевала совиным взором оглядеть двор, выяснить, кто это там на лавочке возле песочницы, кто играет в пинг-понг, а кто – возится с машиной. Попутно левым, более острым ухом, она выхватывала звуки, доносящиеся из приоткрытых форточек. На лету угадывала, что варят на обед и по какому поводу Лена, «это его вторая или третья», повышает голос. Опираясь на плечи и руки случайных помощников и на свои стертые серые костыли, старушенция кое-как продвигалась по бугристой асфальтированной дорожке. Вконец обессиленная от героического перехода, грузно обваливалась на лавку. Ставила костыли сбоку. Гнусаво пела провожатым «спасибо» и вторила ворчливым эхом им вослед: «идите-идите», протыкая убегающих настороженными серыми глазенками.

Летом и зимой бабка целыми днями сидела на своем посту у подъезда. Изредка чинно кивала, здороваясь со знакомыми. Обозревала происшествия двора. В пушистом берете крупной вязки со свалявшимися серыми ягодками. В сером плаще, который скрипел, угрожая треснуть по шву из-за двух поддетых вязаных кофт. Она сидела, вытянув на всеобщее обозрение хворые ноги в детских ортопедических ботиночках. Раздражительная и недоверчивая, с крючковатым клювом. В левой руке всегда сжимала старенький мобильный. В правой руке держала наготове трубку радиотелефона. Иногда отключалась от происходящего, разговаривая с дочерью. Или медленно, с уточнениями, зачитывала внуку список продуктов, которые надо привезти. Случалось, бабка названивала в коммунальные службы, в организации помощи инвалидам, в пенсионные фонды, с кем-то там ругалась, что-то выпрашивала, на кого-то жаловалась. Все остальное время бабка с костылями без доверия приглядывалась ко всему вокруг.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.